

Ф. М. Достоевский

РЯД СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

<I.>

ВВЕДЕНИЕ

I.

Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть бесспорно Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже может быть еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония во-первых слишком далеки от Европы, а во-вторых и доступ туда иногда очень труден; Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского может быть даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца, или японца. Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется *perpetuum-mobile** или жизненный эликсир, чем постигнется западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия. По крайней мере положительно известно, что там никто не живет; а про Россию знают, что в ней живут люди и даже русские люди, но какие люди? — Это до сих пор загадка, хотя впрочем европейцы и уверены, что они нас давно постигли. — В разное время употреблены были пытливыми соседями нашими довольно большие усилия для узнания нас и нашего быта; были собраны материалы, цифры, факты; производились исследования, за которые мы чрезвычайно благодарны исследователям, потому что эти исследования для нас самих были чрезвычайно полезны. Но всевозможные усилия вывести из всех этих материалов, цифр, фактов что-нибудь основательное, путное, дельное собственно о русском человеке, что-нибудь синтетически верное, — все эти усилия всегда разбивались о какую-то роковую, как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и сосчитали столько звезд на небе, что даже уверились наконец, что могут их и хватать с неба. Все доказывает это, начиная с мелочей до самых глубокомысленных исследований о судьбе, значении и будущности нашего отечества. Кое-что впрочем о нас знают. Знают например, что Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и люди, очень странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно смысленный, но не имеет гения; очень красив, живет в деревянных избах, но неспособен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть армия и даже очень большая; но полагают, что русский солдат — совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу. Знают, что в России был император Петр, которого называют великим, — монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями; что женевец Лефорт воспитал его, сделал его из варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать русским кафтаны и бороды; что Петр действительно обрезал бороды, и потому русские тотчас же сделались европейцами. Но знают и то, что не родись в Женеве Лефорт, Русские до сих пор ходили бы с бородами, а следовательно не было бы и преобразования России. Но впрочем довольно и этих примеров; все остальные познания то же, или почти то же самое.

* вечный двигатель (*лат.*).

Мы говорим совершенно серьёзно. Сделайте одолжение разверните все книги, об нас написанные разными заезжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами, — книги разошедшиеся по Европе в десятках тысяч экземпляров; прочтите их внимательно и увидите, правду ли мы говорим, шутим мы или нет? И, что всего любопытнее, — некоторые из этих книг написаны людьми бесспорно замечательно умными. То же самое бессилие, как и в этих попытках заезжих путешественников бросить высший взгляд на Россию и усвоить ее главную идею, видим мы и в полнейшей неспособности почти всякого иностранца, которого обстоятельства заставляют жить в России иногда даже пятнадцать и двадцать лет, хоть сколько-нибудь оглядеться, прижиться в России, понять хоть что-нибудь окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею подходящую к истине. Возьмем сначала ближайшего соседа нашего, немца. Приезжают к нам немцы всякие: и без царя в голове, и такие, у которых есть свой король в Швабии, и ученые, с серьёзною целью узнать, описать и таким образом быть полезным науке России, и неученые простолюдины с более скромною, но добродетельною целью печь булки и коптить колбасы, — разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимают себе «раз навсегда за правило и даже за священную обязанность» знакомить русскую публику с разными европейскими редкостями и потому являются с великанами и великаншами, с ученым сурком или обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия. Но какая бы ни была разница между ученым немцем и простолюдином в понятиях, в общественном значении, в образовании и в цели посещения России, — в России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то больное чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что Русский не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин, и наконец явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед Русскими, — вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию. Иные приезжают служить у помещиков Буеракиных*, управлять вотчинами; другие являются в виде естествоиспытателей, ловят русских жуков, приобретают этим бессмертную славу и обращаются в каких-нибудь заседателей. Другие, с успехом заседая лет пятнадцать, решаются наконец быть современными и полезными и для этого подробно опишут, из каких горных пород будет состоять цоколь будущего памятника тысячелетию России. Есть из них чрезвычайно добрые; такие почти всегда начинают специально учиться по-русски, очень полюбят русский язык и русскую литературу, получают наконец употребление русского языка, конечно не без тяжких усилий, и, в припадке восторга, желая принести себе, Русским и человечеству несомненную пользу, решаются — «перевести Россияду Хераскова на санскритский язык». Впрочем не все переводят Россияду Хераскова. Иные приезжают писать свою Россияду и издадут ее уже в Германии. Есть знаменитые сочинения в этом роде. Читаешь эту Россияду — серьёзно, дельно, умно, даже остроумно. Факты верны и новы; глубокий взгляд брошен на иные явления, взгляд оригинальный и меткий именно потому, что иные русские явления удобнее наблюдать не русскому, а со стороны, и вдруг на чем-нибудь самом важном, коренном, без чего никакие познания о России, никакие факты, приобретенные трудом самым добросовестным, не дадут никакого о ней понятия, или дадут самое сбивчивое, чтоб не сказать бестолковое, — вдруг наш ученый становится в тупик, обрывается, теряет нитку и заключает такую нелепость, что книга сама вырывается из рук ваших и падает, иногда даже под стол.

Приезжие французы совершенно не похожи на немцев; это что-то обратно противоположное. Француз ничего не станет переводить на санскритский язык, не потому чтоб он не знал санскритского языка, — француз все знает, даже ничему не учившись; — но потому во-первых, что он приезжает к нам окинуть нас взглядом самой высшей прозорливости, просверлить орлиным взором всю нашу подноготную и изречь окончательное, безапелляционное мнение; а во-вторых потому что он еще в Париже знал, что напишет о России; даже пожалуй напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом придет к нам — блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него действительно что-нибудь сделали; не потому что в нем дурное сердце, даже напротив; но потому что он совершенно уверен, что не ему принесли например хоть удовольствие, а что он сам одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и

* Губернские очерки Щедрина. <Примеч. автора. — *Ред.*>

удовлетворил всех и каждого на пути его. Самый бестолковый и беспутный из них, поживя в России, уезжает от нас совершенно уверенный, что осчастливил русских и хоть отчасти преобразовал Россию. Иные из них приезжают с серьезными, важными целями, иногда даже на 28 дней, срок необъятный, цифра, доказывающая всю добросовестность исследователя, потому что в этот срок он может совершить и описать даже кругосветное путешествие. Схватив первые впечатления в Петербурге, которые выходят у него еще довольно удачно, и кстати рассмотрев при этом критически английские учреждения, выучив мимоходом русских бояр (*les boyards*) вертеть столы или пускать мыльные пузыри, что впрочем очень мило и гораздо лучше величавой и чванной скуки наших собраний, он решается наконец изучить Россию основательно, в подробностях, и едет в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о Наполеоне, похвалит чай, похвалит красоту и здоровье народа, погрузит о преждевременном его разврате, о плодах неудачно привитой цивилизации, о том, что исчезают национальные обычаи, чему найдет немедленное доказательство в перемене дрожек–гитары на дрожки–линейку, подходящую к европейскому кабриолету; сильно нападет за все это на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет своим читателям свою собственную биографию, полную удивительнейших приключений. С французом все может случиться, не причинив ему впрочем никакого вреда, до такой степени, что он после своей биографии тотчас же начинает рассказывать русскую повесть, конечно истинную, взятую из русских нравов, под названием *Petroucha*, имеющую два преимущества, во–первых что она верно характеризует русский быт, а во–вторых что она в то же время верно характеризует и быт сандвичевых островов. Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер; похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарованья, подражавший Лафонтену, и с особенным сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременною смертью (следует биография) и с успехом подражавшему в своих романах Александру Дюма. Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется наконец где–нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним Трех Мушкетеров...

Повторяем, говоря это, мы вовсе не шутим, вовсе не преувеличиваем. Между тем мы сами чувствуем, что слова наши как будто отзываются пародией, карикатурой. Правда ведь и то, что нет такого предмета на земле, на который бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения. Все можно осмеять, скажут нам, сказать то да не так, передать почти те же самые слова, да не так их выразить. Согласны. Но возьмите же сами самое серьезное мнение о нас иностранцев; и вы убедитесь, что все сказанное нами нисколько не преувеличено.

II.

Но надо оговориться. Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею частью произнесены в состоянии беспокойном, во время недавних раздоров, теперь уже слава Богу поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых криков. А впрочем, если взять эссенцию всех прежних мнений, до раздоров и войны, то вывод был бы почти тот же самый. Книги налицо; можно справиться.

Что ж? будем ли мы обвинять за такое мнение иностранцев? Обвинять их в ненависти к нам, в тупости; смеяться над их недалководидностью, ограниченностью? Но их мнение было высказано не один раз и не кем–нибудь; оно выговаривалось всем западом, во всех формах и видах, и хладнокровно и с ненавистью, и крикунами и людьми прозорливыми, и подлецами и людьми высоко честными, и в прозе и в стихах, и в романах и в истории, и в *premier–Paris** и с ораторских трибун. Следственно это мнение чуть ли не всеобщее, а всех обвинять как–то трудно. Да и за что обвинять? За какую вину? Скажем прямо: не только тут нет никакой вины, но даже мы признаем это мнение за совершенно нормальное, т<о> е<сть> прямо выходящее из хода событий, несмотря на то, что оно, разумеется, совершенно ложное. Дело в том, что иностранцы и не могут нас понять иначе, хотя бы мы

* передовицах парижских газет (*фр.*).

их и разуверяли в противном. Но неужели ж разуверять? Во–первых по всем вероятностям, французы не подпишутся на «Время», хотя бы нашим сотрудником был сам Цицерон, которого впрочем мы бы, может быть, и не взяли в сотрудники. Следственно не прочтут нашего ответа; остальные немцы и подавно. Во–вторых, надо признаться, в них действительно есть некоторая неспособность нас понять. Они и друг друга–то не совсем хорошо понимают.

Англичанин до сих пор еще не в состоянии допустить разумности существования француза; француз платит ему совершенно тою же монетою, даже с процентами, несмотря ни на какие союзы, ententes cordiales** и проч<ее> и проч<ее>. А между тем и тот и другой — европейцы, настоящие, главные европейцы, представители европейцев. Где ж было им разгадать нас русских, когда мы и сами–то для себя загадка, по крайней мере постоянно задавали друг другу о себе загадки. Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам? У нас даже до сих пор любят ребусы. Читайте объявления об издании журналов, и вы в этом совершенно убедитесь. И как же бы наконец они нас постигли, когда одна из главнейших наших особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могут мерить иначе, как на свой аршин. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до сих пор, постоянно и упорно рекомендовали им себя за европейцев. Что ж могли они разобрать в такой путанице, особенно глядя на нас? Виноваты ли они, что до сих пор у них недостает даже фактов, чтоб составить о нас беспристрастное мнение. Чем заявили мы себя особенным, оригинальным? Мы напротив даже как–то боялись сознаться в наших оригинальностях, прятали их не только перед ними, но даже перед собою; стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой–нибудь свой отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами, укоряли себя за это, а следственно им же поддакивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали их переуверять. Да и кого из русских они видели? по ком судили? Правда они встречались со многими из наших, целых полтора века сряду. Вместе с прочими ездил к ним и господин Греч и писал оттуда парижские письма. Вот про господина Греча мы знаем, что он пытался было переубедить французов, разговаривал с Сент–Бёвом, с Виктором Гюго, что явствует из его собственных парижских писем. «Я *напрямки* сказал Сент–Бёву, — выражается он; — Я *напрямки* объявил Виктору Гюго». Дело видите ли в том, что Сент–Бёву или Виктору Гюго, не помним (надо бы справиться), г<осподин> Греч сказал *напрямки*, что литература, проповедующая безнравственность, и проч<ее> и проч<ее> ошибается и недостойна называться литературой (может быть слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это ручаемся). Вероятно Сент–Бёву надо было дожидаться лет пятьдесят г<осподина> Греча, чтоб услышать от него подобную истину из прописей. То–то должно быть Сент–Бёв выпучил глаза! Впрочем успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что г<осподин> Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. Притом же мы может быть и не ошибемся, если скажем, что по г<осподину> Гречу нельзя же было судить о всех русских. Но довольно о г<осподине> Грече. Мы упомянули о нем только так. К делу! Ездили в Париж и другие, кроме г<осподина> Греча. Являлись туда с незапамятных времен и отставные наши кавалеристы, народ веселый и добродушный, изумлявший на наших парадах публику красотой своих форм, обтянутых лосиною, и проводивших потом остаток дней своих уже не в тягостях службы, а в свое удовольствие. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигде не служившие, но сильно заботившиеся о своих поместьях. Ездили туда и коренные наши помещики, со всеми семействами и картонками; добродушно и серьезно взбирались на башни Нотр–Дам, осматривали оттуда Париж и, втихомолку от своих жен, гонялись за гризетками. Доживали там свой век оглохшие и беззубые старухи–барыни и уже окончательно лишались употребления русского языка, которого впрочем не знали и прежде. Возвращались оттуда к нам и наши матушкины сынки (что по–французски переводятся: enfants de bonne maison, fils de famille*), знавшие всю подноготную о Пальмерстоне и о всех мелких дрязгах во Франции, до последней бабьей сплетни, и которые, за обедом, просили своих соседей приказать лакею налить им стакан воды, единственно для того, чтоб не проговорить и двух слов по–русски, хотя бы и с лакеем. Об одном из таких фактов лично свидетельствует г<осподин> Григорович, написавший недавно «Пахатника и бархатника». Но бывали и такие из них, которые знали по–русски, даже занимались зачем–то русской литературой и ставили на русских сценах комедии,

** сердечное согласие (*фр.*).

* дети из хорошего дома, юноши из знатных семей (*фр.*).

вроде пословиц Альфреда Мюссе, под названием, ну хоть например *Раканы* (название конечно выдуманное). Так как сюжет Раканов характеризует целый слой общества, занимающегося такими комедиями, а вместе с тем изображает тип и других произведений в таком же роде, то позвольте вам в двух словах рассказать его. Когда-то в Париже, в прошлом столетии, процветал один пошлейший рифмоплет, под названием Ракан, не годившийся даже чистить сапоги г<осподину> Случевскому. Одна идиотка, маркиза, прельщается его стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна сговариваются между собою явиться к ней, один за другим, под названием Ракана. Не успевает она проводить одного Ракана, как тотчас же перед ней является и другой. Все остроумие, вся соль комедии, весь пафос ее, заключаются в остолбенении маркизы при виде Ракана в трех лицах. Господа, разрешавшиеся (иногда в сорок лет от роду) такими комедиями после Ревизора, совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе драгоценнейшие перлы. И таких господ не один, не два; имя им — легион. Разумеется никто из них ничего не пишет. Автор Раканов почти исключение; но зато каждый из них так уж с виду смотрит, что как будто сейчас сочинит Раканов. Кстати (простите за отступление), премиленькая вышла бы статейка, если б кто-нибудь из наших фельетонистов взял на себя труд рассказать все сюжеты таких комедий, повестей, пословиц и проч<ее> и проч<ее>, мелькающих даже до сих пор в русской литературе. Становые, отказывающиеся, по принципу, жениться на генеральских дочерях, — разве это не те же *Раканы*, разумеется в своем роде и немного только позлокачественнее? Я знаю например сюжет одной повести о проглоченных кем-то маленьких часах, продолжавших чикать в желудке, — это верх совершенства! Разумеется она написана, или будет написана тоже по принципу, именно: что искусство должно служить само себе целью. Уж наше время такое: даже сочинители Раканов не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных вопросов». Но к делу. Спрашиваем: что могли до сих пор заключить о нас иностранцы по таким господам? Но, скажут нам, — разве только одни такие господа ездили к иностранцам? Разве не видали, хоть бы например французы, таких-то, или вот, пожалуй, таких-то? То-то и есть, что они их до сих пор не заметили. А если б и заметили, то опять стали бы в тупик. Ну что бы, например, могли сказать они человеку, приехавшему Бог знает откуда и который бы им вдруг объявил, что они отстали, что свет уж теперь на востоке, что спасение не в *legion d'honneur'e** и так далее и так далее, в этом роде. Они просто бы не стали его слушать.

— Да, вы многое в нас проглядели, — сказали бы мы им, если б только они могли не проглядеть, — ну и... и если б они нас стали слушать. — Вы совершенно ничего в нас не знаете, повторили бы мы им, несмотря на то, что ваш Мериме знает даже древнюю нашу историю и написал что-то вроде начала драмы *le Faux Demetrius***, из которой впрочем столько же можно узнать о русской истории, как и из Марфы-Посадницы Карамзина. Замечательно, что сам *le Faux Demetrius* вышел у него ужасно похож на Александра Дюма, не на героя романа Александра Дюма, но на самого Дюма, настоящего, маркиза *Davis de la Pailletterie*. Ничего-то вы не знаете ни в нас, ни в нашей истории, повторили бы мы им в третий раз, и до сих пор знаете только одно: что женевец Лефорт и т<ак> д<алее> и т<ак> д<алее>. Этот женевец Лефорт до того необходим в ваших познаниях о русской истории, что я думаю каждая дворничиха в Париже уже знает его, и вероятно при взгляде на русского, требующего у ней в поздний час *le cordon s'il vous plait**, бормочет про себя: Вот не родись в Женеве женевец Лефорт, то был бы ты до сих пор варваром, не приезжал бы в Париж, *au centre de la civilisation***, не будил бы ты теперь меня ночью и не орал бы во все горло: *le cordon s'il vous plait!* Но несмотря на троекратное повторение, что вы вовсе ничего о нас не знаете, мы вовсе не ставим вам в вину, что вы знаете только одного Лефорта. Ну, Лефорт вам даже простителен, потому что многих из вас он спас от голодной смерти. Сколько гувернеров, учителей — всяких Сен-Жеромов и Мон-Ревешей, приезжало к нам в старину из-за Рейна для образования России, ровно ничего не зная ни из какой науки, кроме того, что женевец Лефорт и т<ак> д<алее>, и за это единственное познание, которое они передавали детям русских (*boyards*), они получали от нас и деньги и социальное положение. Ну к чему, в самом деле, стали бы вы изучать нас? Где разумное к тому основание? Так разве, для искусства? Но вы народ деловой, практичный, и

* ордене Почетного легиона (*фр.*).

** Лжедимитрий (*фр.*).

* отворите, пожалуйста (*фр.*).

** в центр цивилизации (*фр.*).

вероятно не станете тратить времени на такие пустяки, как искусство для искусства, хотя и посадили Понсара в Академию (впрочем может быть по тому соображению, что туда ему и дорога). Ну так для науки? Да ведь в том-то и дело, что мы такой народ, что до сих пор ни под какую науку не подходим. Вот почему, господа, вы до сих пор не знаете, что если б у нас только и было, что одна ваша цивилизация, так для нас это было бы уж слишком жидко и даже обидно. Мы уж это испробовали и теперь знаем все это на опыте.

Вот почему мы знаем, а вы не знаете, что ваша цивилизация явилась у нас как плод натуральный, потребованный нашей почвой, а не потому только, что был на свете женевец Лефорт и т<ак> д<алее>. Мало того: что цивилизация уже совершила у нас весь свой круг; что мы уже ее выжили всю; приняли от нее все то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве. Нужды нет, что не велика еще у нас масса людей цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то и все дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а напротив расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов. Пусть, пусть сознающая наша масса невелика; но дело в том, что это уже не Раканы. Повторяем, не в величине дело, а в том, что уже совершился процесс сознания; об массе этой вы не имеете еще никакого понятия. Вы до сих пор (по крайней мере все ваши виконты) убеждены, что Россия состоит только из двух сословий: les boyards и les serfs*. Но вы долго еще не будете убеждены, что у нас давно уже есть нейтральная почва, на которой все сливается в одно цельное, стройное, единоедушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски — и les boyards, которых впрочем у нас никогда не было в том смысле, как у вас на западе, т<о> е<сть> в смысле победителей и побежденных, и les serfs, которых опять тоже не было, в смысле настоящих serf'ов, так, как вы понимаете это словечко. И все это сливается так легко, так естественно, мирно, — главное: мирно, и этим именно мы от вас и отличаемся, потому что вы каждый шаг свой добывали с бою, каждое свое право, каждую свою привилегию. Если и есть несогласия, то они только внешние, временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей и мы очень хорошо это понимаем. И начало этому порядку положено еще давно, с незапамятных времен; оно заложено самой природой в духе русском, в идеале народном, и последнее внешнее к тому препятствие уже уничтожается в наше время премудрым и благословенным царем, благословенным из благословенных навеки за то, что он для нас делает. Нет у нас сословных интересов, потому что и сословий-то в строгом смысле не было. Нет у нас галлов и франков, нет ценсов, определяющих внешним образом, чего стоит человек; потому что у нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек; это сознают и это в убеждениях, потому что русский дух пошире сословной вражды, сословных интересов и ценсов. Новая Русь уже помаленьку ошупывается, уже помаленьку сознает себя и опять-таки нужды нет, что она невелика. Зато она, хоть и бессознательно, живет во всех сердцах русских, во всех стремлениях и позовах всех людей русских. Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится, — это всеобщее, духовное примирение, начало которому лежит в образовании. Эта новая Русь уже засвидетельствовала себя явлениями органическими и цельными, а не неудавшимися копиями и пересадками, как вы думаете. Она засвидетельствовала себя начинающеюся в молодом поколении новою нравственностью, ревниво и строго следящею за собою; она засвидетельствовала себя благородным самоосуждением, строгою совестливостью, — что есть признак величайшей силы и неуклонного стремления к своему идеалу. Каждый день она разъясняет себе все более и более свой идеал. Она знает, что она еще только что начинается, но ведь начало-то и главное; всякое дело зависит от первого шага, от начала; она знает, что она уже кончила с вашей европейской цивилизацией и теперь начинает новую, неизмеримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается к народному началу и хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку, — то, что от вас с благоговением получила и за что вечно будет поминать вас добром, — не цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации, представляет ее народу, как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним, и передавая ее ему, будет ждать, что сделает он сам из этой

* бояр и крепостных (*фр.*).

науки. Наука конечно вечна и незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее именно зависят от национальных особенностей, т<о> е<сть> от почвы и народного характера.

Но позвольте, скажут нам, что же такое ваша-то национальность? Что же такое вы сами, русские? Вот вы хвалитесь, что мы вас не знаем; но знаете ли вы-то себя? Вы собираетесь перейти к народному началу и объявляете об этом в газетах, рассылаете при афишах? Стало быть признаетесь, что до сих пор не имели никакого понятия о вашем «народном начале», а если и имели, то имели ложное и отвергали его, именно потому что до сих пор не переходили к нему. Теперь же вздумали и кричите об этом на всю Европу. Позвольте вас спросить, что делает курица, когда снесет яйцо?

Повторяем читателю, что все это говорит иностранец (ну хоть бы например француз), не настоящий, но воображаемый, бесплотный, фантастический. Никакого француза мы и в глаза не видали, когда писали нашу статью.

— Вот еще, — продолжает он, — в вашем объявлении вы изволили поместить следующее: вы надеетесь, что русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях. Это что за новость? что вы под этим подразумеваете?

— То есть, — отвечаем мы, — вы хотите, милостивый государь, чтоб вам объявили прямо и без околичностей, во что мы веруем?

— Нет, я вовсе этого не хочу, — восклицает наш француз с некоторым испугом, предчувствуя, что ему опять придется выслушать несколько страниц; — я вовсе этого не хочу. Я только хотел...

— Нет, милостивый государь, — прерываем мы, — вы хотели ответа и вы выслушаете наш ответ.

— Он заслужил розга и получит розга! — подхватывает Иван Карлыч, вероятно вспомнив то время, когда он управлял вотчинами господина Буеракина. Теперь же Иван Карлыч, предчувствуя скорую перемену в быте крестьян, вышел в отставку и без места; он впрочем надеется, что его опять позовут! В настоящую минуту он стоит подле нас (тоже в качестве иностранца), курит свою трубочку, с которой бывало расхаживал по крестьянским работам, и молча, но очень серьезно прислушивается к нашему разговору, в полном убеждении, что выражает в своей физиономии чрезвычайно много самой тонкой иронии.

— Мы веруем, — повторяем мы...<...>

III.

Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем все наоборот. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу; это бесспорно так. Но все они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, и все более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги. По-видимому каждый из них стремится отыскать общечеловеческий идеал у себя, своими собственными силами и потому все вместе вредят сами себе и своему делу. Повторяем теперь серьезно то, что сказали выше в шутку: англичанин до сих пор не может понять никакой разумности во французе и наоборот француз в англичанине, и это не только у них сборное мнение, инстинктивное чувство всей нации, но замечается даже в первых людях, в предводителях обеих наций. Англичанин смеется над своим соседом при всяком случае, и с непримиримой ненавистью глядит на национальные его особенности. Соперничество лишает их наконец беспристрастия. Они перестают понимать друг друга; они раздельно смотрят на жизнь, раздельно веруют и поставляют это себе за величайшую честь. Они все упорнее и упорнее отделяются друг от друга своими правилами, нравственностью, взглядом на весь Божий мир. И тот и другой во всем мире замечают только самих себя, а всех других — как личное себе препятствие, и каждый отдельно у себя хочет совершить то, что могут совершить только все народы, все вместе, общими соединенными силами. Что же? Неужели это только остатки старинных соперничеств? Неужели причины разъединения надо искать во времена Жанны д'Арк или крестовых походов? Неужели цивилизация так

бессильна, что не могла одолеть до сих пор эти ненависти? Не искать ли их скорее в самой почве, а не в случайностях, в крови, в целом духе обоих народов? Большею частью таковы и все европейцы. Идея общечеловечности все более и более стирается между ними. У каждого из них она получает другой вид, тускнеет, принимает в сознании новую форму. Христианская связь, до сих пор их соединявшая, с каждым днем теряет свою силу. Даже наука не в силах соединить все более и более расходящихся. Положим, они отчасти правы в том отношении, что эти—то исключительности, это взаимное соперничество, эта—то замкнутость от всех в самих себя, эта гордая надежда на себя одного — и придают каждому из них такие исполинские силы в борьбе с препятствиями на пути. Но тем самым эти препятствия все более и более увеличиваются и умножаются. Вот почему европейцы совершенно не понимают русских и величайшую особенность в их характере назвали безличностью. Мы согласны, что выговариваем все это бездоказательно. Доказывать все это теперь мы считаем не в пределах нашей статьи. Но с нами согласятся по крайней мере, что в русском характере замечается резкое отличие от европейского, резкая особенность, что в нем по преимуществу выступает способность высоко синтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности. В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько—нибудь есть общечеловеческого интереса. У него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов; тотчас же соглашается, примиряет их в своей идее, находит им место в своем умозаключении и нередко открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных, сопернических идеях двух различных европейских наций, — в идеях, которые сами собою, у себя дома, еще до сих пор, к несчастью, не находят способа примириться между собою, а может быть и никогда не примирятся. В то же самое время в русском человеке видна самая полная способность самой здоровой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия. Разумеется мы говорим про русского человека вообще, собирательно, в смысле всей нации. Даже физическими способностями русский не похож на европейцев. Всякий русский может говорить на всех языках и изучить дух каждого чуждого языка до тонкости, как бы свой собственный русский язык, — чего нет в европейских народах, *в смысле всеобщей народной способности*. Неужели же это не указывает на что—нибудь? Неужели это только одно случайное, бесцельное явление? Неужели по таким явлениям нельзя осмыслить и хоть отчасти предугадать хоть что—нибудь в будущем развитии нашего народа, в его стремлениях и целях? И вот эта—то нация, усиленная обстоятельствами, столько веков враждебно смотрела на Европу и упорно не хотела жить с нею и не предчувствовала своей будущности! Петр почувствовал в себе каким—то инстинктом новую силу и угадал потребность расширения взгляда и поля действия для всех русских — потребность, скрытую в них бессознательно и бессознательно вырывавшуюся наружу и которая была в их крови еще с славянских времен. Говорят, что он хотел сделать из России только Голландию? Не знаем; лицо Петра, несмотря на все исторические разъяснения и изыскания последнего времени, до сих пор еще очень для нас загадочно. Мы понимаем только одно: что нужно было быть слишком оригинальным, чтоб, быв Московским царем, вздумать — не только полюбить, но даже поехать в Голландию. Неужели ж один женевец Лефорт был и в самом деле всему причиною? Во всяком случае в лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек, когда он выживет себе полное убеждение и почувствует, что пора пришла, а в нем самом уже созрели и сказались новые силы. И страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля! Никогда никто не отрывался так от родной почвы, как приходилось иногда ему, и не поворачивал так круто в другую сторону, вслед за своим убеждением! И кто знает, господа иноземцы, может быть России именно предназначено ждать, пока вы кончите; тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения, и наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою. Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей—Муромцем, который тридцать лет сидел сиднем и вдруг пошел, только лишь сознал в себе богатырскую силу. К чему же даны такие богатые и оригинальные способности русским? Неужели же для того, чтоб

ничего не делать? Может быть нам скажут: Откуда в вас столько хвастливости, откуда такое высокомерие? Где же ваша способность самоосуждения, где ваш трезвый взгляд, которыми вы так хвалились? Но, ответим мы, если мы начали с того, что вынесли столько самоосуждения, которому сами так долго себя подвергали, то можем вынести и другую правду, хотя бы она была и совершенно обратна самоосуждению. На нашей памяти, как мы бранили себя славянами, за то, что не могли сделаться теперешними европейцами. Неужели ж нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздор? Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно признаем ее за лучшую сторону русской природы, за ее особенность, за то, чего у вас вовсе нет. Мы знаем, что еще много нам предстоит упражняться в самоосуждении, даже, может быть, чем дальше, тем больше. Попробуйте однако ж затронуть француза, ну хоть в храбрости, или в его *legion d'honneur'e*. Затроньте англичанина хоть бы в самой малейшей домашней его привычке, и увидите, что они вам скажут. Почему же не похвалиться, что в нас русских нет такой щепетильности и обидчивости, исключая может быть одних так называемых литературных генералов наших. Мы веруем в силу русского духа не менее, чем кто бы то ни было. Неужели он не вынесет похвалы? Нет, господа европейцы! Не спрашивайте пока от нас доказательств нашего мнения о вас и о себе и постарайтесь прежде получше узнать нас, если только вам будет на это досуг. Вот, вы уверены, что мы свистали при ваших неудачах, надменно радовались им и плевали на ваши усилия, когда вы так мужественно и великодушно ринулись было на новый путь прогресса. Нет, нет, старшие братья наши, любезные и дорогие, мы вам не свистали, не радовались неудачам вашим. Мы иногда даже плакали вместе с вами. Вы конечно сейчас же удивитесь и спросите: да чего же вы-то плакали? Вам-то что было за дело? Ведь вы тут совершенно были сбоку припека? Ах, господа, ответим мы вам, да ведь в том-то все и дело, что сбоку припека, а между тем вам сочувствовали! В том-то вся и загадка. Вот вы, например, откуда-то взяли, что мы фанатики, т<o> е<сть> что нашего солдата у нас возбуждают фанатизмом. Господи Боже! Если б вы знали, как это смешно! Если есть на свете существо вполне не причастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. Те из нас, кто бывал и жила с солдатами, знают это до точности. Если б вы знали, какие это милые, симпатичные, родные типы! О, если бы вам удалось прочесть хоть рассказы Толстого; там кое-что так верно, так симпатично схвачено! Да что! неужели Севастополь русские защищали из религиозного фанатизма? Я думаю ваши храбрые зуавы хорошо познакомились с нашими солдатыками и знают их. Много ли они от них видели ненависти? И как хорошо знаете вы тоже наших офицеров! Вы задали себе, что у нас всего только два сословия: *les boyards* и *les serfs*; на том и сидите. Какие тут *boyards*! Положим, что у нас довольно цельно определены сословия. Но во всех сословиях наших гораздо более точек соединения, чем разъединения, а в этом все и дело. Это залог нашего всеобщего мира, спокойствия, братской любви и процветания. Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию. Не так у вас, и мы вас сожалеем. У вас бывает даже совершенно обратно. Из сословного интереса у вас предавалась иногда в жертву вся нация и даже очень недавно, даже иногда и теперь, даже наверно еще много раз будет. Значит, еще очень сильны у вас сословия и всякие корпорации. Вы с удивлением спрашиваете: но где же ваше-то хваленое развитие, в чем прогресс ваш? кажется на деле не видно того? Нет, видно, отвечаем мы, да вам-то не видно; вы не туда смотрите. Довольно уж и того, что оно в духе и в потребностях всего народа; довольно и того, что хоть самое маленькое меньшинство наше начинает соглашаться между собою хоть в общем, хоть в целом. Не называйте нас надменными и недалекими скороспелками. Нет, мы давно уже во все вглядываемся, все анализируем; задаем себе загадки; тоскуем и мучаемся разгадками. Анализ начался у нас недавно, но по-нашему очень давно, и мы даже самим себе надоели этим до тошноты. Ведь мы тоже жили и много прожили. А кстати: не рассказать ли вам нашу *собственную* повесть, повесть нашего развития, нашего роста? Разумеется мы не начнем с Петра Великого; мы начнем с недавнего времени, именно с того, когда во все образованное сословие наше вдруг стал проникать анализ. Извольте. Бывали минуты, что мы, т<o> е<сть> цивилизованные, и в себя не верили. Поль де Кока мы еще тогда читали, но с презрением отвергали Александра Дюма и всю компанию. Мы набросились на одного Жорж-Занда и — Боже, как мы тогда зачитались! Андрей Александрович купно с г<осподином> Дудышкиным, поселившимся в «Отечественных Записках» после Белинского, еще до сих пор вспоминают Жорж-Занда; прочтите объявление об их журнале на 61 год. Тогда мы смиренно выслушивали ваши приговоры о нас самих и вам же усердно поддакивали. Да; мы поддакивали и — не знали,

что делать. От нечего делать мы основали тогда натуральную школу. И сколько у нас проявилось талантливых натур! не писателей талантливых, — те особо; а натур, талантливых во всех отношениях. Господин надворный советник Щедрин знает, что означает это словечко. И как эти талантливые натуры ломались и кривлялись тогда перед нами, а мы их разглядывали, пересуживали, осмеивали их в глаза и заставляли их же смеяться над самими собою. И они смеялись над собою, но как-то по принципу и с какой-то отвратительной затаенной злобой. Тогда все делалось по принципу; мы и жили по принципу и ужасно боялись сделать что-нибудь не по новым идеям. Родилось у нас тогда какое-то усиленное самообвинение и самоуличение, а вместе с тем все на перерыв уличали и обличали друг друга; и, Господи, как они все тогда сплетничали! И ведь все это было большею частью искренно. Конечно являлись между ними и промышленники; но были и самые искренние, так, сдуру, из прекрасного чувства. Случалось, что иной искренний господин вдруг, наедине, как-нибудь вечером, вломится в душу другого искреннего господина и начнет ему повествовать о своих погибельных днях и «какой дескать я выхожу подлец». Другой расчувствуется и начнет с своей стороны то же самое. И вот пустятся один перед другим на перерыв, даже клеветают на себя от излишнего жара, точно хвалятся. И наговорят они оба взаимно столько о себе самих мерзостей, что на другой день даже стыдно им встретиться друг с другом; так и избегают друг друга. Были у нас и байронические натуры. Они большею частью сидели сложа руки и... даже уж и не проклинали. Так только лениво иногда ослаблялись. Они даже смеялись над Байроном за то, что он так сердился и плакал, что лорду уж и совсем неприлично. Они говорили, что и не стоило сердиться и проклинать, — что уж так все гадко, что даже пальцем пошевелить не хочется, и что хороший обед всего дороже. И когда они говорили это, — мы с благоговением внимали их словам, думая видеть в их мнении о хорошем обеде какую-то таинственную, тончайшую и ядовитейшую иронию. А те уплетали себе в ресторанах и жирели не по дням, а по часам. И какие из них бывали краснощекие! Иные же не останавливались на иронии жирного обеда и шли все дальше и дальше; они преусердно начали набивать свои карманы и опустошать карманы ближнего. Многие пошли потом в шулера. А мы смотрели с благоговением, разиня рот и удивляясь. Что ж? говорили мы друг другу, ведь это у них тоже по принципу; надо же взять от жизни все, что она может дать. И когда они, на наших глазах, воровали платки из карманов, то мы даже и в этом находили какую-то утонченность байронизма, дальнейшее его развитие, еще неизвестное Байрону. Мы ахали и грустно качали головами. — «Вот до чего, — говорили мы, — может довести отчаяние; человек сгорает добром, преисполнен благороднейшего негодования, кипит жаждой деятельности, но действовать ему не дают, его обрезали, и вот — он с демоническим хохотом передергивает в карты и ворует платки из карманов». И как чистосердечны, как ясны душой вышли многие из нас из всего этого срама. Куда многие! — почти все, кроме разумеется Байронов. Были у нас и высоко чистые сердцем, которым удалось высказать горячее, убежденное слово. О, те не жаловались, что им не дают высказаться, что обрезают их поле деятельности, что антрепренеры высасывают из них последние соки, т-о е-сть они и жаловались, но не складывали рук и действовали как могли, а и все-таки действовали, хоть что-нибудь да делали и... многое, очень многое сделали! Они были невинны и простодушны, как дети, и всю жизнь не понимали своих сотрудников-Байронов, и умерли — наивными страдальцами. Мир праху их! Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них все смеялся; он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужаснейшую трагедию. Он рассказал нам в трех строках всего рязанского поручика, — всего, до последней черточки. Он выводил перед нами приобретателей, кулаков, обирателей и всяких заседателей. Ему стоило указать на них пальцем, и уже на лбу их зажигалось клеймо навеки веков, и мы уже наизусть знали: кто они и, главное, как называются. О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе и которому вы бы может быть и не позволили быть у себя. Другой демон, — но другого мы может быть еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов; писал он и в альбомы, но даже сам г-осподин-бов посовестился бы назвать его альбомным поэтом. Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал — был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и смущал ее девственную кровь и рисовал перед ней странные видения, о которых еще ей не следовало бы грезить, особенно при таком

высоконравственном воспитании, которое она получила. Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он нас как будто мистифицировал; не то говорит серьезно, не то смеется над нами. Наши чиновники знали его наизусть и вдруг все начали корчить мефистофелей, только что выйдут бывало из департамента. Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и тяжело и досадно и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас. Наконец ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог ужиться; он проклял нас и осмеял «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом», и улетел от нас,

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал.

Мы долго следили за ним, но наконец он где-то погиб — бесцельно, капризно и даже смешно. Но мы не смеялись. Нам тогда вообще было не до смеху. Теперь дело другое. Теперь Бог послал нам благодетельную гласность, и нам вдруг стало веселее. Мы как-то вдруг поняли, что все это мефистофельство, все эти демонические начала мы как-то рано на себя напустили, что нам еще рано проклинать себя и отчаяваться, несмотря на то, что еще так недавно господин Ламанский среди всего пассажи доложил нам, что мы не созрели. Господи, как мы обиделись! Господин Погодин прискакал из Москвы на почтовых, запыхавшись, и тут же начал всенародно утешать нас и разумеется тотчас же нас уверил (даже без большого труда), что мы совершенно созрели. С тех пор мы такие гордые. У нас Щедрин, Розенгейм... Помним мы появление г<осподи>на Щедрина в Русском Вестнике. О, тогда было такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г<осподин> Щедрин минутку, когда явиться. Говорят в Русском Вестнике прибавилось вдруг столько подписчиков, что и сосчитать нельзя было, несмотря на то, что почтенный журнал уж и тогда начинал толковать о Кавуре, об английских лордах и фермерстве. С какою жадностью читали мы о Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфире Петровиче, об озорниках и талантливых натурах, — читали и дивились их появлению. Да где ж они были, спрашивали мы, где ж они до сих пор прятались? Конечно настоящие живоглоты только посмеивались. Но всего более нас поразило то, что г<осподин> Щедрин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру (по всегдашнему выражению г<осподина> Булгарина — мир праху его!), как тотчас же у него и замелькали под пером и Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали как-то странно, как-то особенно... Точно непременно так уж выходило, что как только выедешь из Пальмиры, то немедленно заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж-Занд, и Отечественные Записки, и г<осподина> Панаева, и всех, и всех. И вот разлилась как море благодетельная гласность; громко звякнула лира Розенгейма; раздался густой и солидный голос г<осподина> Громеки, мелькнули братья Мелеанты, закишили бессчетные иксы и зеты, с жалобами друг на друга в газетах и повременных изданиях; явились поэты, прозаики, и все обличительные... явились такие поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы. О, не думайте, г<оспода> европейцы, что мы пропустили Островского. Нет; ему не в обличительной литературе место. Мы знаем его место. Мы уже говорили не раз, что веруем в его новое слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоуличений, даже тогда, когда мы читали бессмертные похождения Чичикова. Грезилось и желалось все это нам, как дождя на сухую почву. Мы даже боялись и высказать, чего нам желалось. Г<осподин> Островский не побоялся..., но об Островском потом. Мы не располагали об нем говорить теперь; мы только хотели поговорить о благодетельной гласности. О, не верьте, не верьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности, только что завели, и испугались ее и прячемся от нее. Ради Бога, пуще всего не верьте Отечественным Запискам, которые смешивают гласность с литературой скандалов. Это только показывает, что у нас еще много господ, точно с ободранной кожей, около которых только пахнут ветром, так уж им и больно; что у нас еще много господ, которые любят читать про других и боятся, когда другие прочтут что-нибудь и про них. Нет, мы любим гласность и ласкаем ее, как новорожденное дитя. Мы любим этого маленького бесенка, у которого только что прорезались его маленькие, крепкие и здоровые зубенки. Он иногда невпопад кусает; он еще не умеет кусать. Часто, очень часто не знает кого кусать. Но мы смеемся его шалостям, его детским ошибкам и смеемся с любовью, что же? детский возраст, простительно! Грешные люди — мы даже смеялись за ним, когда он не побоялся «оскорбить своей насмешкой» даже самих братьев

Мелеантов, столь почтенных и столь невинных, которых имя так неожиданно вдруг прогремело по всей России... Нет; мы не боимся гласности, мы не смущаемся ею. Это все от здоровья, это все молодые соки, молодая неопытная сила, которая бьет здоровым ключом и рвется наружу!.. все хорошие, хорошие признаки!..

IV.

Но что мы говорим о гласности! Всегда, во всяком обществе, есть так называемая золотая посредственность, претендующая на первенство. Эти золотые страшно самолюбивы. Они с уничтожающим презрением и с нахальной дерзостью смотрят на всех неблистающих, неизвестных, еще темных людей. Они—то первые и начинают бросать камни в каждого новатора. И как они злы, как тупы бывают в своем преследовании всякой новой идеи, еще не успевшей войти в сознание всего общества. А потом какие крикуны выходят из них, какие рьяные и вместе с тем тупые последователи этой же самой идеи, когда она получает преобладающее значение в обществе, несмотря на то что они ее преследовали вначале. Разумеется они поймут наконец новую мысль, но поймут всегда после всех, всегда грубо, ограниченно, тупо и никак не допускают соображения, что если идея верна, то она способна к развитию, а если способна к развитию, то непременно со временем должна уступить другой идее, из нее же вышедшей, ее же дополняющей, но уже соответствующей новым потребностям нового поколения. Но золотые не понимают новых потребностей, а что касается до нового поколения, то они всегда ненавидят его и смотрят на него свысока. Это их отличительнейшая черта. В числе этих золотых всегда бывает чрезвычайно много промышленников, выезжающих на модной фразе. Они—то и опошливают всякую новую идею и тотчас же обращают ее в модную фразу. Они опошливают все, до чего ни прикасаются. Всякая живая идея в их устах обращается в мертвечину. Награду же за нее получают всегда они первые, на другой день после похорон гениального человека, ее провозгласившего и которого они же преследовали. Иные из них до того ограничены, что им серьезно кажется, что гениальный человек ничего не сделал, а сделали все они. Самолюбие в них страшное. Мы сказали уже, что они чрезвычайно тупы и неловки, хотя кажутся толпе умными, все больше берут резкими и азартными фразами, впадают в крайности, не понимая ни смысла, ни духовной постройки идеи и таким образом вредят ей даже и тогда, когда искренно разделяют ее. Например: подымется между мыслителями и филантропами вопрос, ну хоть бы о женщине, об облегчении ее участи в обществе, об уравнении прав ее с правами мужчины, о деспотизме мужа и проч<ее> и проч<ее>. Золотые непременно поймут это так, что брак *немедленно* должен разрушиться; главное — *немедленно*. Мало того, — что всякая женщина не только может, но даже *должна* быть неверною своему мужу и что в этом—то и состоит настоящий нравственный смысл всей идеи. Всего смешнее смотреть на этих господ, когда например общество, в какое—нибудь хлопотливое, переходное время, разделяется на два убеждения. Тогда они не знают к кому, к чему пристать; а между тем нередко считаются столпами, авторитетами; нужно высказать свое мнение. Что им делать? После долгих колебаний золотой господин решает и всегда невпопад. Это уже закон. Это тоже главнейшая черта золотого господина. Так и прорвется на чем—нибудь самым грубым, самым нелепым образом, так что, случалось, иные из их решений переходили в потомство, как пример тупоумия. Но мы отвлеклись от дела. Не одна гласность преследуется в наше время. Преследуется и грамотность и даже именно теми, которые в свое время казались нам в числе людей если не передовых, то не отсталых и, главное, *страшно—благоразумных*. Мы говорим *страшно*, потому что многие из них до того авторитетно и свысока смотрели на всех людей темных, до того чванились своим здравым смыслом и так называемым ясным, *практическим* пониманием вещей, что при них даже неловко было сидеть. Так и хотелось уйти в другую комнату. Такой господин крепится иногда лет двадцать среди благомыслящих и передовых и считается передовым, так что наконец и сам уверен, что он передовой, и вдруг брякнет что—нибудь до того неожиданное, что только одна помещица Коробочка могла бы так сбрыкнуть в каком—нибудь случае, ну хоть например, если б ее пригласили решить вопрос о европейском финансовом кризисе. Но мы заговорили о постороннем и отвлеклись от предмета. Перейдем к делу. Мы заговорили о грамотности.

Известен факт, что грамотное простонародие наполняет остроги. Тотчас же из этого выводят заключение, что не надо грамотности. Логически ли это? Нож может обрезать, так не надо ножа. — Нет, скажут нам, не «не надо ножа», а надо давать его только тем, которые умеют владеть им и не обрежутся. — Хорошо. Следственно по—вашему надо

сделать из грамотности что-то вроде привилегии. Но не лучше ли было бы вам, господа, обратить сперва внимание на те обстоятельства, которыми обставлена в нашем простонародье грамотность, и посмотреть, нельзя ли как устранить эти обстоятельства, а не лишать весь народ духовного хлеба. Мы признаем вместе с вами, что грамотное простонародье наполняет остроги. Но рассмотрите, как и отчего это происходит? Мы расскажем вам это так, как сами поняли, после долголетних наблюдений над острожною жизнью. Во-первых, в нашем простонародье грамотных так мало, что грамота действительно дает иногда человеку перед другими некоторое преимущество, придает ему большее достоинство, более солидности, отличия, возвышения над своей средой. Простонародье не то чтоб считало грамотного лучше себя в каком-нибудь отношении, — нет, оно признает в грамотном только более сильного человека, чем оно само, более возвышающегося над многими хлопотливыми обстоятельствами обыденной жизни, одним словом — признает в грамотности житейскую пользу. Грамотного и бумагой какой-нибудь не надуешь, и в другом чем-нибудь не проведешь. С своей стороны грамотный как-то невольно склонен считать себя выше всей окружающей его среды людей темных и неграмотных. Разумеется более или менее. А считая себя выше, он уже не совсем спокойно относится к этой среде, в которой живет вместе с другими. У него естественно рождается мысль, что ему уже и не следует, что он и не должен третироваться так, как эти темные люди. — «Они дескать темные, а мы народ грамотный». — Его так и подмывает, при случае, *выйти из рядов*. К нему же почти всегда бывает некоторый оттенок уважения, иногда самый неприметный, а иногда и очень сильный, особенно если он умеет вести себя, *т<о> е<сть>* держать себя солидно, красноречив, велеречив, немножко педант, презрительно молчит, когда все говорят, и заговорит именно тогда, когда все замолчат, не зная что говорить, одним словом, если держит себя так, как держат себя некоторые наши умники и некоторые наши мыслители, передовые, практические люди и некоторые литературные генералы, одним словом — все те, которых вы так хорошо знаете. Та же наивность, те же смешно-нетерпеливые выходки. Короче, во всех слоях общества одно и то же, только в каждом слое в своем роде. Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряда вон, есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся — нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и обратно непрерывной заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности. Следовательно основание одно и то же, а разница только в употреблении прав своих. Взгляните на так называемых начетчиков между раскольниками и посмотрите, какое огромное деспотическое влияние они имеют на своих единоверцев. Даже само общество заключает в себе какую-то инстинктивную потребность выдвинуть из среды себя какую-нибудь исключительную личность; поставить ее как исключение перед собою, вне обычаев и принятых правил; признать за этой личностью что-то необыкновенное и преклониться перед нею. Таким образом появляются Иваны Яковлевичи, Марфуши и проч*ие*». Возьмем теперь совершенно другой пример. Взгляните на иного лакея, дворового. Хотя он гораздо ниже крестьянина-хлебопашца в общественном своем положении, но так как ему кажется, что он выше, что фрак, белый официантский галстук и лакейские перчатки благородят его перед мужиком, то он уж и презирает его. И не говорите, что эта гадкая, низкая черта свойственна только грубому народу, *т<о> е<сть>* отсекаться от своих и пренебрегать ими при перемене судьбы своей. Черта гадкая, это правда; но за нее некого обвинять. Лакей не виноват, если, по темноте своей, видит привилегию в немецком платье. Для него главное в том, что он вошел в соприкосновение с господами, *т<о> е<сть>* с высшими; он обезьянничает их манеры, замашки; платье отличает его от прежней среды... Таким образом и грамотность, как чрезвычайная редкость в народе, считает себя тоже отличною и привилегированною, и грамотный нередко презирает неграмотного. Ему хочется показать себя. Он становится самонадеян, нетерпелив, превращается в какого-то деспотика. Ему иногда может показаться, что с ним нельзя поступать так, как с другими, темными. Он нетерпелив; он дерзок на словах; ему неприлично перенести то, что все переносят, — особенно при свидетелях; он надменен. Надменность порождает в нем легкомыслие, легкомыслие — заносчивость. Иногда он уж слишком много на себя понадеется, заберется не по силам, и — вдруг обрывается, даже иногда совершенно нечаянно, и оттого например, что в критическую минуту на него смотрели свои, перед которыми он чванился, и ждали, что от него в эту критическую

минуту будет. Вот он и показал себя и... попал в острог. Разумеется мы говорим не про всех грамотных. Мы говорили отвлеченно; и смешно бы было утверждать, что только научится простолюдин грамоте, так уж и попал в острог. Мы хотели только выяснить, каким образом грамотность, как своего рода привилегия, может породить заносчивость и самонадеянность, неуважение к среде своей и к своему положению, особенно если оно не совсем приятное. Мы говорили теоретически и жалею, что пределы нашей статьи не позволяют нам представить несколько примеров, каким образом происходит все это на практике, как развивается и к какому приходит концу. Повторим опять, что мы говорили не про всех грамотных; из грамотных приходят в остроги уже отчасти самой природой к тому предназначенные при известной обстановке, <о> е<сть> люди от природы упрямые, горячие, нервные, впечатлительные. На них-то грамотность и действует привилегияльными своими неудобствами именно потому, что у нас она и есть привилегия...

— Что ж из этого? — скажут нам. — Из ваших же слов выходит, что грамотность вредна и что наше простолюдые до нее не дозрело. — Напротив, — отвечаем мы, — вместо того, чтоб делать грамотность привилегией, исключением, уничтожьте исключительность. Сделайте ее достоянием всех по возможности, и она не породит ни в ком и ни при каких обстоятельствах ни высокомерия, ни заносчивости. Не перед кем и заноситься-то будет, — все будут грамотные. А потому, чтоб уничтожить вредные последствия грамотности, нужно как можно более распространять ее: в этом все лекарство. Тем более, господа противники грамотности, что вы вашей-то системой (<о> е<сть> стеснением грамотности) не только не достигнете цели, но даже против себя действуете. Рассудите: ведь вы стеснением грамотности никогда не уничтожите ее совершенно. Правительство первое воспротивилось бы вашим рьяным усилиям и защитило бы народ от вашей филантропии. Следственно все-таки будут между народом грамотные; а если будут, то все-таки будут наполнять остроги, следовательно вы никого не излечите, ничего не достигнете. Мало того, тем вернее будут наполняться остроги; потому что чем меньше будет грамотности, тем более будет она иметь вид привилегии. Согласитесь еще с этим: грамотность есть первый шаг к образованию; как же достигнуть образования без этого первого шага? Ведь не можем же мы серьезно представить себе, что вы нарочно хотите держать народ в темноте, в пороках и в невежестве, одним словом — убить и развратить в нем душу? Или может быть это тоже входит в вашу систему? Да, это правда! Нет человека упрямее, капризнее и вреднее иного кабинетного филантропа! Но довольно. Мы уверены с своей стороны совершенно, что грамотность нравственно улучшит народ и придаст ему чувство собственного достоинства, которое в свою очередь уничтожит многие злоупотребления и беспорядки, уничтожит даже их возможность. Все зависит от обстоятельств и все на свете изменяется только сообразно с обстоятельствами. Была бы только видна в обществе прямая, насущная потребность, проявилось бы только первое сознание этой потребности, — и она немедленно находит средство удовлетворить себя. Напротив того, никакое даже действительное улучшение не приметя массой, как улучшение, а напротив — как притеснение, если в массе не образовалась еще, хоть сколько-нибудь сознательно, потребность этого улучшения. Так и грамотность. Народ уже созрел до нее, он желает, ищет грамотности, и потому она должна и будет распространяться, несмотря на все усилия филантропов. Взгляните на воскресные школы. Дети наперерыв приходят учиться, иногда даже тихонько от своих хозяев. Родители сами приводят своих детей к учителям. Да; несмотря на то, что уже давно изучают у нас народ, что многие из наших литераторов посвятили изучению его свои досуги и таланты, мы все-таки до сих пор очень плохо знаем народ. Мы уверены, что лет десять, двенадцать назад многие передовые тогдашние люди не поверили бы, что народ сам будет хлопотать об основании обществ трезвости и толпиться в воскресных школах. Мы серьезно говорим это, потому что наше мнение иные могли бы принять за шутку. Но наше цивилизованное общество достигнет наконец того, что поймет народ — этого неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов. Оно поймет народное начало и проникнется им. Оно уже сознало, что это необходимо, как основание нашего будущего развития и прогресса; оно сознало, что за ним первый шаг, и — найдет наконец, как сделать этот шаг.

V.

Итак все дело теперь в первом шаге; все дело в том, чтоб догадаться, как сделать этот первый шаг, как выговорить это первое слово, чтоб народ услышал нас и обратил к нам свое ухо и недоверчивое лицо свое. Разумеется найдутся еще очень многие господа, которые расхохочутся на слова наши.

Ну, что ж им отвечать? Мы сами знаем, что таких господ — легион, да ведь до них нам и дела нет. Кстати: кто-то удостоверял, что мы, <О> е<сть> именно наш журнал, берем на себя примирение цивилизации с народным началом. Мы считаем этот отзыв не более как за милую шутку. Не одному человеку сказать это неизвестное слово и разгадать всю эту загадку. В программе нашего журнала мы только выставили главную мысль, которая будет руководить нас. Мы будем искать разгадку вместе со всеми. Мы будем только неустанно повторять и доказывать, что искать — надо; будем следить, разбирать, обсуживать, спорить и передавать наши результаты публике. Вот вся будущая деятельность наша. Слово — та же деятельность, а у нас — более чем где-нибудь. Слово, сказанное кстати, полезно; потому и мы имеем надежду, что и мы будем полезны. Журнал наш назначается для чтения образованного общества, так как за образованным обществом до сих пор еще первое слово и первый шаг ко всякой деятельности. Мы знаем, что для народного чтения у нас еще до сих пор ничего не сделано. Хоть и было бы что читать, но и то, что есть, недоступно народу. Всякую попытку устранить эту недоступность мы встретим с искреннею радостью. Но, повторяем, мы и в мыслях не имели назначать наш журнал прямо для народного чтения. Но довольно объясняться; обращаемся к нашему делу. Мы потому считаем за образованным сословием нашим первый шаг к новой деятельности, что оно первое и отделилось от народности. Трудов к сближению будет много; мы все это чувствуем, хотя и не сознаем еще ясно, в чем будут состоять они. Все дело в устранении недоразумений. Всякое недоразумение устраняется прямою, откровенностью, любовью. Мы начинаем сознавать, что интерес нашего сословия в народном интересе, а народный интерес в нашем. Такое сознание, если б сделалось всеобщим, гарантировало бы прочность дела. Но если и нет этого сознания, то есть следы, что оно начинается, а теперь уж довольно и этого. Человек может ошибаться. Мы с своей стороны знаем, что ошибку в фальшь не ставят. Не в ошибках дело. Пусть желающие сближения сделают хоть тысячу ошибок; главное в том, чтоб народ видел и угадал это желание, чтоб он понял его и оценил, — вот все, чего надо. Дело правое не погибнет и от нескольких ошибок. По крайней мере идея, на которой все основано, останется незыблемой. Не удастся один шаг, удастся другой. Все состоит в правдивости и прямоте побуждения, в любви. Любовь есть основа побуждения, залог его прочности. Любовь города берет. Без нее же ничего и никто не возьмет, разве силой; но ведь есть такие вещи, которые никогда не возьмешь силой. Любовь понятнее всего, всяких хитростей и дипломатических тонкостей. Ее мигом узнаешь и отличишь. Народ понятлив и признателен; он знает, кто его любит. В народной памяти остаются только те, кого он любил. Пример к сближению нам подал сам Монарх, устранивший последние фактические к этому препятствия, и нет ничего выше, ничего святее Его дела во все тысячелетие России. И хотя мы полтора века сряду приучали народ быть к нам недоверчивым, но вспомните басню — ведь не дождем, не ветром сдернуло плащ с путника, а солнцем. Много несчастий произошло на свете от недоумений и от недосказанности. Недосказанное слово вредит и вредило всегда. Неужели одному сословию бояться быть откровенным с другим? Чего бояться? Народ с любовью оценит в образованном сословии своих учителей и воспитателей, признает нас за настоящих друзей своих, оценит в нас не наемников, а пастырей и будет уважать нас. Мы должны наконец заслужить от него уважения. И какие великие силы возродятся тогда? Как все возрастет, возмужает и обновится! Как изменятся наши взгляды и так называемые законченные выводы! Куда денутся тогда наши «талантливые натуры», не находившие себе места, наши обленившиеся Байроны, слишком много занимающие места, потому надо полагать, что на досуге они страшно растолстели? Конечно недаром жили и вы, господи Байроны, и недаром толстели. Вы жили и протестовали; вы заявляли ваши желания... Мы смотрели на ваши скорбные фигуры и спрашивали: «О чем они скорбят, чего хотят, чего ищут»? — Следственно вы возбуждали наше любопытство; любопытство старалось отыскать ответ и — находило ответ. И так вы приносили хоть отрицательную пользу, хоть только тем, что жили между нами. Но теперь полно и вам горемычничать; сделайте и вы хоть что-нибудь. Вы все говорите, что у вас нет деятельности. Попробуйте, не найдете ли хоть теперь? Научите хоть одного мальчишка грамоте; вот вам и деятельность. Но нет! вы с негодованием отворачиваетесь... Какая же это для нас деятельность! — говорите вы, злобно улыбаясь: — мы таим в груди нашей исполинские силы. Мы хотим и можем сдвигать с места горы; из наших сердец бьет чистейший ключ любви ко всему человечеству. Мы хотели бы разом обняться со всем человечеством. Мы хотим работы соразмерно с силами нашими; вот какой хотим мы деятельности и гибнем в

бездействию. Нельзя же шагать вместо семи миль по вершку! Великану ль учить мальчика грамоте? — Справедливо, господа; но если вы ничего не будете делать, то и умрете ничего не сделав; а тут все-таки хоть капелька первого шагу; один атом, но все-таки больше, чем ничего. И знаете ли что? Вы желаете исполинской деятельности; хотите ли мы вам дадим такую, которая выше всех ожиданий ваших? Даже горы сдвигать легче, чем исполнять эту деятельность. Вот она: пожертвуйте для всеобщего блага всем вашим великанством; шагайте вместо семи миль по вершку; проникнитесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершок все-таки больше, чем ничего. Пожертвуйте всем — и великой природой вашей и великими идеями, помня, что все это для всеобщего блага; снизойдите, снизойдите до мальчика. Это будет колоссальнейшая жертва! Мало того: вы люди умные, талантливые, и если пожертвуете собой, снизойдете до обыденного, до маленького, то может быть тут же, с первого же шага отыщете еще какую-нибудь деятельность, более сильную, а потом еще и еще. Ведь дело только вначале, только начните. Начните-ка! а?.. Но виноваты, может быть это не по вашим силам. Вы пожалуй можете пожертвовать и жизнью; но на такие усилия вы не способны.

Конечно мы внесем только одну десятую долю усилий; народ сам доставит остальные девять десятых. Но что же, скажут нам, вы хотите сделать с вашим образованием? чего достигнете? Вы хотите перейти к народному началу и несете народу образование, т<о> е<сть> ту же европейскую цивилизацию, которую сами признали за не подходящую к нам. Вы хотите *переевропеить* народ? — Но возможно ли, отвечаем мы, чтоб европейская идея на совершенно чуждой ей почве принесла те же результаты, как и в Европе. У нас до того все особенно, все не похоже на Европу во всех отношениях: и во внутренних и во внешних и во всевозможных, что европейских результатов невозможно добыть на нашей почве. Повторяем, что подходит к нам — останется, что не подходит — само собою умрет. Можно ли сделать из народа нашего немцев? В сравнении с ним мы самое крошечное меньшинство, самостоятельных сил и средств у нас меньше, чем во всей громадной народной массе; а вот мы же были у немцев, и в целых полтора года, не поддались же европейскому влиянию, не сделали немцами. Значит и мы, несмотря на наше меньшинство, на наши малые силы, на исключительное положение наше перед народом, все-таки заключали в себе великие русские начала общечеловечности и всепримиримости и не потеряли их. Они сказались в нас, и мы поняли, что не можем сделаться немцами, и сами захотели воротиться к родному началу. Мы устыдились своей недеятели, своей несамодвижности среди громадной деятельности европейских племен, и поняли, что в Европе нам нечего делать. Не беспокойтесь, наука не наложит пут на народ наш; она только расширит его силы, и он скажет в ней свое слово. До сих пор наука у нас не прививалась и была у нас, как дорогой оранжерейный цветок. Особенной научной деятельности общество наше не выказало, ни теоретической, ни практической, потому что было разъединено с родной почвой, а само по себе было слабо. Только казна строила мосты и дороги, да и то большею частью заезжими инженерами.

Но привьется наконец и наука; все это совершится может быть тогда, когда уже нас не будет на свете. Мы даже и угадать не можем, что тогда будет, но знаем, что будет не совсем дурно. На долю же нашего поколения досталась честь первого шага и первого слова. Новая мысль уже не раз выражалась русским словом наружу. Мы начинаем изучать ее прежние выражения и открываем в прежних литературных явлениях факты, до сих пор не замеченные нами, но вполне подтверждающие эту мысль. Колоссальное значение Пушкина уясняется нам все более и более, несмотря на некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах... Да, мы именно видим в Пушкине подтверждение всей нашей мысли. Значение его в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских он живое уяснение, во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда стремятся все его силы и какой именно идеал русского человека. Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Все, что только могли мы узнать от знакомства с европейцами о нас самих, мы узнали; все, что только могла нам уяснить цивилизация, — мы уяснили себе, и это знание самым полным, самым гармоническим образом явилось нам в Пушкине. Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выражались и не в одном Пушкине, но только в нем они явились нам во всей полноте, явились как факт, законченный и целый...

О Пушкине мы хотим сказать несколько подробнее в будущей статье нашей и доказательнее развить нашу мысль. В будущей же статье мы перейдем наконец и к русской литературе, будем говорить о теперешнем ее положении, о ее значении в теперешнем обществе, о некоторых ее недоразумениях, спорах, вопросах. В особенности хочется нам сказать несколько слов и об одном очень странном вопросе, который уже столько лет разделяет нашу литературу на партии и таким образом парализует ее силы. Именно о знаменитом вопросе: искусство для искусства и проч^{<ее>}, — все его знают. Нечего выписывать заглавие. Признаемся заранее, мы всего более удивляемся, как не надоел еще этот вопрос публике окончательно и она еще не отказывается читать целые о нем трактаты? Но мы постараемся написать наше мнение не в форме трактата.

<II.>

Г<ОСПОДИН> –БОВ И ВОПРОС ОБ ИСКУССТВЕ

Мы сказали в объявлении о нашем журнале, что наша русская критика в настоящее время пошлеет и мельчает. Мы с грустью сказали эти слова; не отрекаемся от них; это наше глубокое убеждение. Многие из наиболее читаемых русских журналов выразили почти ту же мысль в своих осенних объявлениях, при начале подписки на журналы на нынешний 1861 год. По крайней мере многие из них обещали обратить особенное внимание на этот отдел в будущем году, следовательно согласились, что до сих пор он был плоховат. Если они исполнят свое обещание, то хорошо сделают. Не думаем, чтоб нас обвинили в хвастовстве, в заносчивости, и из-за того только, что мы нашли критику измельчавшею, обвинили нас, что мы часто выставляем самих себя глашатаями новых истин, провозвестниками новых идей и т^{<ак>} д^{<алее>} и т^{<ак>} д^{<алее>}. Мы не принимаем на себя такой роли. Мы знаем только одно: что любим свое дело и приступаем к нему горячо и с уважением. Нельзя не сознаться, что в нашей критике давно уже заметна какая-то всеобщая апатия, кроме может быть одного исключения. Не так впрочем думают «Отечественные Записки». Они решились объявить, — и кажется без малейших колебаний, без малейших угрызений совести, — что вся блестящая деятельность Белинского, правда, была блестящая, но... как бы это сказать — несколько поверхностна (*entre nous soit dit**) и что настоящая, громадная и спасительная деятельность русской критики началась именно с того времени, как Белинский оставил этот журнал. Мы помним, что к этому времени (т^{<о>} е^{<сть>} как Белинский оставил этот журнал) относится появление в «Отечественных Записках» статьи г<осподина> Дудышкина о Фон-Визине. Не с нее ли «Отечественные Записки» начинают новую эру русской критики? Правда, сейчас после Белинского занялся в «Отечественных Записках» отделом критики Валериан Николаич Майков, брат всем известного и всеми любимого поэта, Аполлона Николаича Майкова. Валериан Майков принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности. Но он не успел высказаться. Он умер в первый же год своей деятельности. Много обещала эта прекрасная личность и может быть многого мы с нею лишились. Но со смертью В. Майкова основался в «Отечественных Записках» г<осподин> Дудышкин, и мы имеем некоторое основание думать, что с него-то и начинает желтый журнал новую блестящую эру своей деятельности. «Отечественные Записки» именно ставят себе в особенную заслугу, что после Белинского критика приняла у них характер по преимуществу исторический, и что Белинский, который низвергал авторитеты и занимался Жорж-Зандом (слова о Жорже Занде в объявлении «Отечественных Записок» — верх совершенства, так кстати они помещены!) едва прикоснулся к исторической части русской литературы. Во-первых это несправедливо, а если б и было справедливо, то в двух страницах Белинского (издание сочинений которого приводится к окончанию) сказано больше об исторической же части русской литературы, чем во всей деятельности «Отечественных Записок» с 48 года до наших времен. А так как статья о Фон-Визине считается в «Отечественных Записках» началом этой пресловутой исторической деятельности, то и деятельность эта вероятно считается с г<осподина>

* между нами говоря (*фр.*).

Дудышкина. Правда, статья о Фон–Визине была еще довольно дельная, хотя очень скучная. Но после нее наступила в «Отечественных Записках» такая засуха, что страх вспомнить об этом времени, даже в сравнении с статьей о Фон–Визине. Между тем «Отечественные Записки» называют это время самой блестящей эпохой своей деятельности, да и всей русской литературы. Они утверждают, что журнал их обратился в то время к народности. Мы припоминаем в «Отечественных Записках» одну статью о метле, ухвате и лопате и о значении их в древней русской мифологии. Сведения, сообщенные автором этой статьи, были конечно полезные; но не в таких ли статьях видят «Отечественные Записки» обращение к народности? Если так, то взгляд их и понятие о народности довольно оригинальны. Оригинален тоже другой взгляд, выраженный в объявлении «Отечественных Записок» с ужасающей откровенностью; именно: что все, что только есть исправно мыслящего, движущегося, идущего к какой–нибудь цели в нашем теперешнем обществе, все — насколько развилось в нем сознания и смысла, — все это сделали «Отечественные Записки», все это плоды трудов их. Так как они сами начинают немного свысока смотреть на Белинского, то позволительно заключить, что все эти блестящие результаты они приписывают своей последующей деятельности, т<о> е<сть> начиная с статей о Фон–Визине и о лопате, до чудовищной статьи о Пушкине, помещенной в апрельской книжке «Отечественных Записок» прошлого 1860 года. Впрочем прошлогоднее объявление об издании «Отечественных Записок» принадлежит истории русской литературы. Оно не умрет; оно вековечно, монументально. Мы относим его к литературе русских скандалов и к скандалам в русской литературе.

Но мы увлеклись. Принимаясь за нашу статью, мы и в виду не имели «Отечественных Записок» и их объявлений и вспомнили совершенно нечаянно, несмотря на то, что хотели сказать несколько слов о критической деятельности русских журналов в прошлом году. Мы говорим: несколько слов, потому что написать полный отчет всей критической деятельности за весь прошлый год мы не беремся и готовы считать подобный труд в некотором смысле даже подвигом. Правда, в этом отчете нам пришлось бы указать и на несколько приятных явлений в прошлогодней нашей критике... Но хотя мы и не беремся за этот *подвиг*, мы видим, что нам приходится в настоящей статье отчасти говорить, по поводу одного вопроса, об одном из важнейших представителей современной критики, которого, — в этом надо признаться откровенно, — только одного у нас теперь и читают, чуть ли не из всех наших критиков. В самом деле, исключая три, четыре критические статьи, мелькнувшие по разным журналам за прошлый год и несколько замеченные публикою, — все остальные прошли почти не оставив по себе следа. Читают одного г<осподина> –бова, который заставил–таки читать себя, и уж за это одно он стоит особенного внимания... Но впрочем вот по какому собственно случаю мы хотим в этот раз говорить о г<осподине> –бове.

В январской книжке нашего журнала, оканчивая наше введение в «Ряд статей о русской литературе», мы обещали говорить о современных литературных явлениях и вопросах. Одним из самых важных литературных вопросов мы считаем теперь вопрос об искусстве. Этот вопрос разделяет многих из современных писателей наших на два враждебные лагеря. Таким образом разъединяются силы. Нечего распространяться о вреде, который заключается во всяком враждебном разногласии. А дело уже доходит почти до вражды.

Разобрать эту вражду и ее причины, разъяснить весь спор и высказать свое мнение по поводу этого спора — соответствовало бы и целям нашего журнала и обязанностям, которые мы сами приняли на себя перед публикой. Но прежде всего оговоримся: Если мы и вяжемся в этот спор, то вовсе не претендуя на роль окончательного судьи в этом споре. Да и примера мы не припомним, чтоб в литературных спорах наших хоть когда–нибудь одна партия подчинилась другой, согласилась бы с ней добровольно и по убеждению. Всякий литературный спор кончается у нас тем, что или выживает из лет, надоедает всем и каждому и прекращается сам собою; или одна партия одолевает другую так, что другая замолкает, но единственно от бессилия и истощения; замолкает, а не соглашается. Соглашений мы как–то не помним. Если же они и бывали, то так редко, что и припоминать не стоит.

И потому примирять и соглашать наших спорщиков мы не беремся. Да и роль неприятная. Недавно г<осподину> Воскобойникову показалось, что русские литераторы слишком много дерутся (литературным образом разумеется); он и тиснул довольно забавную статейку: «перестаньте драться, г<оспода> литераторы». Вышло так, что все, кто только захотел заметить эту статью, напустились на г<осподина> Воскобойникова. В

чем другом были не согласны, а в этом тотчас же между собой согласились. — Просто запросто: мы считаем теперешний вопрос об искусстве чрезвычайно важным; а потому, как начинающийся журнал, хотим высказать и свое мнение: как мы понимаем этот вопрос и какому именно оттенку в его решении придерживаемся. Таким образом мы прямо выскажем свои убеждения и выкажем свое направление, тем более что нас уже об этом спрашивали. А так как высказать наши убеждения мы не можем, не разъяснив предварительно, на чем остановился этот спор в нашей литературе, то чтоб определить современный характер этого спора, мы разберем предварительно учения обеих партий, чему и посвящаем эту статью. Один из главных представителей одного из этих учений есть бесспорно г<осподин> –бов, печатающий свои статьи в «Современнике»; вот почему и статью нашу мы назвали:

Г<осподин> –бов и вопрос об искусстве.

Еще одно замечание:

Нам говорят и мы сами недавно читали в одном из самых распространенных в публике журналов наших, что партий в русской литературе не существует. Мы полагаем, что этот журнал употребил слово: «партий» в смысле распрей личных, до которых собственно литературе не должно быть и дела. Разумеется мы всеми силами желаем поверить этому журналу на слово: нет, так тем и лучше. Но партии в смысле несогласных убеждений в нашей литературе существуют. У нас есть Аскоченские, Черно книжниковы, –бовы. Даже сам великолепный Кузьма Прутков, в строгом смысле, может тоже считаться представителем цельной и своеобразной партии. Вообще каждый журнал наш чего–либо да придерживается. Совершенно же бесцветные журналы у нас не держатся и умирают тихую и спокойною смертию. Разумеется литературные партии наши вообще неясно и как–то смутно обрисованы. От иных решительно не дождешься ясного изложения их убеждений; другие отделяются какими–то намеками; третьи выражаются как будто по заказу, а между тем как будто сами себе не верят; четвертые удаляются в туманную область нахмуренных фраз, головоломных фраз, тарабарского слога, — разбирай как знаешь. Винить за это разумеется невозможно. Но по поводу вопроса об искусстве, некоторые из журналов наших обозначились довольно резко, особенно в последнее время. Между ними первое место занимает «Современник» с прошлогодними статьями г<осподина> –бова.

Сделав такое предисловие, приступим к самому делу.

И во–первых объявляем, что не придерживаемся ни одного из теперь существующих мнений и прямо говорим, что по нашему мнению, весь вопрос в настоящую минуту ложно поставлен — именно от слишком горячего спора; именно оттого, что дело дошло почти до вражды. Мы надеемся доказать это.

Но представим самую сущность вопроса; что именно это за вопрос и в чем он заключается?

Одни говорят и учат, что искусство служит само себе целью и в самой сущности своей должно находить себе оправдание. И потому вопроса о полезности искусства, в настоящем смысле слова, даже и быть не может. Творчество — основное начало каждого искусства, есть цельное, органическое свойство человеческой природы и имеет право существовать и развиваться уже потому одному, что оно есть необходимая принадлежность человеческого духа. Оно так же законно в человеке, как ум, как все нравственные свойства человека и, пожалуй, как две руки, как две ноги, как желудок. Оно неотделимо от человека и составляет с ним целое. Конечно ум например — полезен, — так можно выразиться: плохо без ума. Полезны в этом же смысле человеку и руки и ноги! В этом же смысле полезно человеку и творчество.

Но как нечто цельное, органическое, творчество развивается само из себя, не подчиненно и требует полного развития; главное — требует полной свободы в своем развитии. Поэтому всякое стеснение, подчинение, всякое постороннее назначение, всякая исключительная цель, поставленная ему, будут незаконны и неразумны. Если б ограничить творчество, или запретить творческим и художественным потребностям человека заниматься, — ну, чем бы например? — ну, хоть выражением известных ощущений; запретить человеку всю творческую его деятельность, которую бы возбуждали в нем известные явления природы: восход солнца, морская буря и проч<ее> и проч<ее>, — то все это было бы нелепым, смешным и незаконным стеснением человеческого духа в его деятельности и развитии.

Это говорит одна партия, — партия защитников свободы и полной неподчиненности искусства.

«Разумеется все это было бы нелепым стеснением, — ответят утилитаристы (другая партия, учащая тому, что искусство должно служить человеку прямой, непосредственной, практической и даже определенной обстоятельствами пользой), — разумеется всякое подобное стеснение, без разумной цели, а единственно по прихоти, — есть дикая и злая глупость. Но согласитесь сами (могут они прибавить) — вдруг например идет сражение — вы один из сражающихся; вместо того, чтоб помогать своим товарищам в битве, вам, как артисту в душе, вдруг понравилась картина сражения; вы бросите оружие, вынимаете карандаш, бумагу и начинаете срисовывать поле битвы. Хорошо вы делаете? Разумеется вы имеете полное право предаваться вашим вдохновениям; но разумна ли будет ваша художественная деятельность в такую минуту?

Одним словом, — заключат они, — мы не отвергаем вашей теории о свободе развития творчества; но эта свобода должна быть по крайней мере хоть разумная».

Г<осподин> Панаев, в начале своих интересных литературных воспоминаний (Современник 1861, книга I) упоминает, что во время его молодости, между петербургскими литераторами одного круга, существовало убеждение, что литераторы, поэты, художники, артисты не должны заниматься ничем насущным, текущим, — ни политикой, ни внутреннею жизнью общества, к которому принадлежат, ни даже каким-нибудь важнейшим общенародным вопросом, а заниматься только одним *высоким искусством*. Заниматься же чем-нибудь кроме искусства, значит унижать его, низводить его с высоты, глумиться над ним. По такому учению значит надо было добровольно вырвать из-под себя всю почву, на которой все стоят и которою все живут, и следовательно улетать все выше и выше в надзвездия, а там разумеется как-нибудь испариться, потому что ведь больше-то ничего не оставалось и делать. Эта теория могла привести прямо к тому, что например во время двенадцатого года, когда все русское занималось только одним спасением отечества, одним литераторам и поэтам было бы гораздо приличнее заниматься — ну, хоть например греческой антологией. В литературной и художественной кучке, о которой рассказывает г<осподин> Панаев, так и поступали: вопросами общественными не занимались. Один из важнейших членов этой кучки только и делал в то время, что писал драмы из жизни итальянских художников.

Возьмем еще пример:

Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; дома разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял — или имение или семью. Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского Меркурия (тогда всё издавались Меркурии). Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о погибших, о пропавших без вести и проч<ее> и проч<ее>. И вдруг — на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы —
И заря, заря!..

Да еще мало того: тут же, в виде послесловия к поэмке, приложено в прозе всем известное поэтическое правило, что тот не поэт, кто не в состоянии выскочить вниз головой из четвертого этажа (для каких причин? — я до сих пор этого не понимаю; но уж пусть это непременно надо, чтоб быть поэтом; не хочу спорить). Не знаю наверно, как приняли бы свой Меркурий лиссабонцы, но мне кажется они тут же казнили бы

всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому что вместо трелей соловья, накануне слышались под землей такие трели, а колыхание ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев, не только не осталось охоты наблюдать —

В дымных тучках пурпур розы

или

Отблеск янтаря,

но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни. Разумеется, казнив своего поэта (тоже очень небратски), они все непременно бы кинулись к какому-нибудь доктору Панглосу* за умным советом, и доктор Панглос тотчас же и без большого труда уверил бы их всех, что это очень хорошо случилось, что они провалились, и что уж если они провалились, то это непременно к лучшему. И доктора Панглоса никто бы не разорвал за это в клочки; напротив дали бы ему пенсию и провозгласили бы его другом человечества. Ведь так все идет на свете.

Заметим впрочем следующее: положим лиссабонцы и казнили своего любимого поэта, но ведь стихотворение, на которое они все рассердились (будь оно хоть и о розах и янтаре), могло быть великолепно по своему художественному совершенству. Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности. Выходит, что не искусство было виновато в день лиссабонского землетрясения. Поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и языка, принесла может быть даже и немалую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения. Стало быть виновато было не искусство, а поэт, злоупотребивший искусством в ту минуту, когда было не до него. Он пел и плясал у гроба мертвеца... Это конечно было очень нехорошо и чрезвычайно глупо с его стороны; но виноват опять-таки он, а не искусство.

Одним словом, утилитаристы требуют от искусства прямой, немедленной, непосредственной пользы, соображающейся с обстоятельствами, подчиняющейся им, и даже до такой степени, что если в данное время общество занято разрешением напр<имер> такого-то вопроса, то искусство (по учению некоторых утилитаристов) и цели не может задать себе иной, как разрешение этого же вопроса. Если рассматривать это соображение о пользе не как требование, а только как желание, то оно, по нашему мнению, даже похвально, хотя мы и знаем, что все-таки это соображение не совсем верно. Если например все общество озабочено разрешением какого-нибудь важного внутреннего вопроса, то разумеется приятно было бы желать, чтоб и все силы общества согласно направлены были к достижению всеобщей цели, а следовательно, чтоб и искусство прониклось этой же идеей и тоже послужило бы общей пользе. Какое-нибудь общество, положим, на краю гибели; все что имеет сколько-нибудь ума, души, сердца, воли, все что сознает в себе человека и гражданина, занято одним вопросом, одним общим делом. Неужели ж тогда только между одними поэтами и литераторами не должно быть ни ума, ни души, ни сердца, ни любви к родине и сочувствия всеобщему благу?

Служенье муз, дескать, не терпит суеты.

Это положим так. Но хорошо бы было, если б например поэты не удалялись в эфир и не смотрели бы оттуда свысока на остальных смертных; потому что, хотя греческая антология и превосходная вещь, но ведь иногда она бывает просто не к месту и вместо нее приятнее было бы видеть что-нибудь более подходящее к делу и помогающее ему. А искусство много может помочь иному делу своим содействием; потому что заключает в себе огромные средства и великие силы. Повторяем: разумеется, этого только можно желать, но не требовать, уже потому одному, что требуют большею частью, когда хотят заставить насильно, а первый закон в искусстве — свобода вдохновения и творчества. Все же вытребованное, все вымученное спокон веку до наших времен не удавалось и вместо пользы приносило один только вред. Защитники «искусства для искусства» собственно за

* Доктор Панглос, — смешной философ в одной сказке Вольтера, доказывающий что все на свете происходит к лучшему. <Примеч. автора. — *Ред.*>

то и сердятся на утилитаристов, что они, предписывая искусству определенные цели, тем самым разрушают само искусство, посягая на его свободу, а разрушая так легко искусство, стало быть не ценят его, и следовательно не понимают даже, к чему оно может быть полезно, — они толкуют прежде всего о пользе. Потому, говорят защитники искусства, — если б утилитаристы только знали, какая великая польза заключается в искусстве для всего человечества, то они бы несколько более ценили его и не обращались бы с ним с таким неуважением. И в самом деле (продолжают они) если б даже смотреть на искусство с одной вашей точки зрения, то есть со стороны одной полезности, то ведь еще не известен в подробности нормальный исторический ход полезности искусства в человечестве. Трудно измерить всю массу пользы, принесенную и до сих пор приносимую всему человечеству например Илиадой или Аполлоном Бельведерским, вещами, по-видимому совершенно в наше время ненужными. Вот например такой-то человек, когда-то, еще в отрочестве своем, в те дни, когда свежи и «новы все впечатленья бытия», взглянул раз на Аполлона Бельведерского, и бог неотразимо напечатлелся в душе его своим величавым и бесконечно прекрасным образом. Кажется факт пустой: полюбовался две минуты красивой статуей и пошел прочь. Но ведь это любованье не похоже на любованье, например, изящным дамским туалетом. «Мрамор сей ведь бог», и вы сколько ни плюйте на него, никогда у него не отнимете его божественности. Пробовали отнять, да ничего не вышло. И потому впечатление юноши может быть было горячее, потрясающее нервы, охлаждающее эпидерму; может быть даже, — кто это знает! — может быть даже при таких ощущениях высшей красоты, при этом сотрясении нерв, в человеке происходит какая-нибудь внутренняя перемена, какое-нибудь передвижение частиц, какой-нибудь гальванический ток, делающий в одно мгновение прежнее уже не прежним, кусок обыкновенного железа магнитом. Впечатлений на свете конечно множество, но ведь недаром же это впечатление особенное, впечатление бога. Недаром же такие впечатления остаются на всю жизнь. И кто знает? Когда этот юноша, лет двадцать, тридцать спустя, отозвался во время какого-нибудь великого общественного события, в котором он был великим передовым деятелем таким-то, а не таким-то образом; то может быть в массе причин, заставивших его поступить так, а не этак, заключалось, бессознательно для него, и впечатление Аполлона Бельведерского, виденного им двадцать лет назад. Вы смеетесь? Действительно все это похоже на бред; но во-первых, в подобных фактах, несмотря на всю вашу положительность, вы сами еще ничего ровно не знаете. Может быть впоследствии узнаете (мы верим в науку), но теперь покамест не знаете. А во-вторых есть исторические признаки, есть некоторые исторические факты, по которым можно подумать, что наши мечты и не совсем вздор. Ну, кто бы мог подумать, что например Корнель и Расин отзовутся своим влиянием в такие странные и решительные минуты исторической жизни целого народа, что казалось бы и немислимо было сначала, что делать таким старым колпакам, как Корнель и Расин, в такие эпохи. Оказалось, что души-то и не умирают. А потому, если давать заранее цели искусству и определять, чем именно оно должно быть полезно, то можно ужасно ошибиться, так что вместо пользы можно принести один вред, а следовательно действовать прямо против себя; потому что утилитаристы требуют пользы, а не вреда. И так как искусство требует прежде всего полной свободы, а свобода не существует без спокойствия (всякая тревога уже несвобода), то следственно искусство должно действовать тихо, ясно, не торопясь, не увлекаясь по сторонам, имея само себя целью и веруя, что всякая деятельность его отзовется со временем человечеству несомненною пользою.

Вот что говорят сторонники искусства для искусства своим противникам утилитаристам.

Во всем этом конечно ничего нет нового; спор стар, но вот что новое: что сами предводители обеих партий говорят так, а на деле поступают обратно противоположно своим же словам. Слишком уж заспорились. Не распространяясь много, покажем один пример:

Обличительная литература возбуждает негодование сторонников чистого искусства. С одной стороны это имеет некоторое основание: большую часть произведения обличительной литературы до того худы, что более вредны, чем полезны всеобщему делу, и если мы с своей стороны признаем, что нападки на эти произведения отчасти и дельны, то единственно только в этом смысле. Но в том-то и беда, что нападки на них идут не с одной этой стороны и не в этом смысле. Негодование заходит далее: обвиняется сам г<осподин> Щедрин, родоначальник обличительной литературы, несмотря на то, что г<осподин> надворный советник Щедрин во многих из своих обличительных

произведений — настоящий художник. Мало того: гонится весь обличительный род искусства, как будто между обличительными писателями даже и не может появиться истинного художника, гениального писателя, поэта, самая специальность которого именно и будет состоять в обличении. Следственно, из вражды к противникам, сторонники чистого искусства идут против самих себя, против своих же принципов, а именно — уничтожают свободу в выборе вдохновения. А за эту свободу они-то бы и должны стоять.

С другой стороны утилитаристы, не посягая явно на художественность, в то же время совершенно не признают ее необходимости. «Была бы видна идея, была бы только видна цель, для которой произведение написано, — и довольно; а художественность дело пустое, третьестепенное, почти ненужное». Вот как думают утилитаристы. А так как произведение нехудожественное никогда и ни под каким видом не достигает своей цели; мало того: более вредит делу, чем приносит пользы; то стало быть утилитаристы, не признавая художественности, сами же более всех вредят делу, а следственно идут прямо против самих себя; потому что они ищут не вреда, а пользы.

Нам скажут, что мы это все выдумали, что утилитаристы никогда не шли против художественности. Напротив: не только шли, но мы заметили, что им даже особенно приятно позлиться на иное литературное произведение, если в нем главное достоинство — художественность. Они например ненавидят Пушкина, называют все его вдохновения — вычурами, кривляниями, фокусами и фиоритурами, а стихотворения его — альбомными побрякушками. Даже самое появление Пушкина в нашей литературе они считают как будто чем-то незаконным. Мы вовсе не преувеличиваем. Все это почти ясно выражено г<осподином> –бовым в некоторых критических статьях его прошлого года. Заметно еще, что г<осподин> –бов начинает высказываться с каким-то особенным нерасположением и о г<осподине> Тургеневе, самом художественном из всех современных русских писателей. В статье же своей: «Черты для характеристики русского простонародья» (Современник 1860 № IX), при разборе сочинений Марко-Вовчка, г<осподин> –бов почти прямо выказывает, что художественность он считает ничем, нулем, и выказывает именно тем, что не умеет понять, к чему полезна художественность. При разборе одной повести Марка Вовчка г<осподин> –бов прямо признает, что автор написал эту повесть нехудожественно, и тут же, сейчас же после этих слов, утверждает, что автор достиг вполне этой повестью своей цели, а именно: вполне доказал, что такой-то факт существует в русском простонародье. Между тем этот факт (очень важный) не только не доказывается этой повестью, но даже вполне подвергается сомнению именно потому, что по нехудожественности автора, действующие лица повести, выставленные автором для доказательства его главной идеи, утратили под пером его всякое русское значение, и читатель скорее согласится назвать их шотландцами, итальянцами, североамериканцами, — чем русским простонародьем. Как же в таком случае могли бы они доказать собою, что такой-то факт существует в русском простонародье, когда сами они, действующие лица, не похожи на русское простонародье? Но г<осподину> –бову до этого решительно нет дела: была бы видна идея, цель, хотя бы все нитки и пружины грубо выглядывали наружу; к чему же после этого художественность? Да и к чему наконец писать повести? просто-запросто написать бы, что вот такой-то факт существует в русском простонародье — потому-то и потому-то, — и короче и яснее и солиднее? «А тут еще сказки рассказывать! вот людям-то нечего делать!»

Кстати сделаем еще одно нотабене. Чем познается художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Скажем еще яснее: художественность, например хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение. Следственно попросту: художественность в писателе есть способность писать хорошо. Следственно те, которые ни во что не ставят художественность, допускают, что позволительно писать нехорошо. А уж если согласятся, что *позволительно*, то ведь отсюда недалеко и до того, когда просто скажут: что *надо* писать нехорошо. Да чуть ли уж и не говорят.

<...>

Мы уже сказали в начале нашей статьи, что нормальные, естественные пути полезного нам не совсем известны, по крайней мере не исчислены до последней точности. Как в самом деле определить ясно и бесспорно, что именно надо делать, чтоб дойти до идеала всех наших желаний и до всего того, чего желает и к чему стремится все человечество?

Можно угадывать, изобретать, предполагать, изучать, мечтать и рассчитывать, но невозможно рассчитать каждый будущий шаг всего человечества, вроде календаря. Поэтому как и определить *совершенно верно*, что вредно и полезно? Но не только о будущем, мы даже не можем иметь точных и положительных сведений о всех путях и отклонениях, одним словом о всем нормальном ходе полезного даже и в прошедшем нашем. Мы изучаем этот путь, догадываемся, строим системы, выводим следствия, но все-таки календаря и тут не составим, и история до сих пор не может считаться *точной* наукой, несмотря на то, что факты почти все перед нами. И потому как например вы определите, вымеряете и взвесите, какую пользу принесла всему человечеству Илиада? Где, когда, в каких случаях она была полезна, чем наконец, какое именно влияние она имела на такие-то народы, в такой-то момент их развития и сколько именно было этого влияния (ну хоть фунтов, пудов, аршин, километров, градусов и проч<ее> и проч<ее>)? А ведь если мы этого не можем определить, то очень возможно, что можем ошибиться и теперь, когда будем строго и решительно определять людям занятия и указывать искусству нормальные пути полезности и настоящего его назначения. А только согласитесь, что можно ошибиться, вот уже и неизвестно станет: может быть Лаура-то у Клавира и окажется на что-нибудь полезна? Правда, красота всегда полезна; но мы об ней теперь умолчим, а вот что мы скажем: (впрочем заранее предупредим, — может быть мы скажем неслыханную, бесстыднейшую дерзость, но пусть не смущаются нашими словами; мы ведь говорим только одно предположение). Что, скажем мы: а ну-ка если Илиада-то полезнее сочинений Марко-Вовчка, да не только прежде, а даже теперь, при современных вопросах; полезнее как способ достижения известных целей, этих же самых вопросов, разрешения настольных задач? Ведь и теперь от Илиады проходит трепет по душе человека. Ведь это эпопея такой мощной, полной жизни, такого высокого момента народной жизни и, заметим еще, жизни такого великого племени, что в наше время, — время стремлений, борьбы, колебаний и веры (потому что наше время есть время веры), одним словом в наше время наибольшей жизни, эта вековечная гармония, которая воплощена в Илиаде, может слишком решительно подействовать на душу. Наш дух теперь наиболее восприимчив, влияние красоты, гармонии и силы может величаво и благодетельно подействовать на него, *полезно* подействовать, влить энергию, поддержать наши силы. Сильное любит силу; кто верует, тот силен, а мы веруем и, главное, хотим верить. Ведь чем гнусно занятие Илиадой и подражание ей в искусстве в наше время, по взгляду противников чистого искусства? Тем, что мы, точно мертвецы, точно всё пережившие, или точно трусы боящиеся нашей будущей жизни, наконец — точно равнодушные изменники тех из нас, в которых еще осталась жизненная сила и которые стремятся вперед, точно энервированные до отупения, до непонимания, что и у нас есть жизнь, — в каком-то отчаянии, бросаемся в эпоху Илиады и создаем себе таким образом искусственную действительность, жизнь, которую не мы создавали и не мы проживали, мечту, пустую и соблазнительную, — и, как низкие люди, заимствуем, ворует нашу жизнь у давнопрошедшего времени и прокисаем в наслаждении искусством, как никуда негодные подражатели! Согласитесь сами, что направление утилитаристов, с точки зрения подобных упреков, в высшей степени благородно и возвышенно. Оттого-то мы им так сочувствуем; оттого-то их и хотим уважать. Беда только в том, что это направление и эти упреки неверны. Не говоря уже о том, что мы говорили о потребности красоты, и о том, что у человечества уже определились отчасти ее вековечные идеалы (так что все это уже стало всемирной историей и связано общечеловечностью с настоящим и с будущим, навеки и неразрывно), — не говоря уже о том, заметим утилитаристам, что ведь можно относиться к прошедшей жизни и к прошедшим идеалам и не наивно, а исторически. При отыскании красоты человек жил и мучился. Если мы поймем его прошедший идеал и то, чего этот идеал ему стоил, то во-первых мы выкажем чрезвычайное уважение ко всему человечеству, облагородим себя сочувствием к нему, поймем, что это сочувствие и понимание прошедшего гарантирует нам же, в нас же присутствие гуманности, жизненной силы и способность прогресса и развития. Кроме того можно относиться к прошедшему и (так сказать) байронически. В муках жизни и творчества бывают минуты, не то чтоб отчаяния, но беспредельной тоски, какого-то безотчетного позыва, колебания, недоверия и, вместе с тем, умиления перед прошедшими, могущественно и величаво законченными судьбами исчезнувшего человечества. В этом энтузиазме (байроническом, как называем мы его), перед идеалами красоты, созданными прошедшим и оставленными нам в вековечное наследство, мы изливаем часто всю тоску о настоящем, и не от бессилия перед нашею собственною жизнью, а напротив, от пламенной жажды жизни и от тоски по

идеалу, которого в муках добиваемся. Мы знаем одно стихотворение, которое можно почтить воплощением этого энтузиазма, страстным зовом, молением перед совершенством прошедшей красоты и скрытой внутренней тоской по такому же совершенству, которого ищет душа, но должна еще долго искать и долго мучиться в муках рождения, чтоб отыскать его. Это стихотворение называется «Диана», вот оно:

ДИАНА

Богини девственной округлые черты,
Во всем величии блестящей наготы,
Я видел меж деревьев над ясными водами
С продолговатыми, бесцветными очами...
Высоко поднялось открытое чело,
Его неподвижностью вниманье облегло, —
И дев молению в тяжелых муках чрева
Внимала чуткая и каменная дева.
Но ветер на заре между листов проник,
Качнулся на воде богини ясный лик;
Я ждал, — она пойдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж деревьями,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные... Но мрамор недвижимый
Белел передо мной красой непостижимой.

Последние две строки этого стихотворения полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей русской поэзии. Это отжившее прежнее, воскресающее через две тысячи лет в душе поэта, воскресающее с такою силою, что он ждет и верит, в молении и энтузиазме, что богиня сейчас сойдет с пьедестала и пойдет перед ним,

Молочной белизной мелькая меж деревьями...

Но богиня не воскресает и ей не надо воскресать, ей не надо жить; она уже дошла до высочайшего момента жизни; она уже в вечности, для нее время остановилось; это высший момент жизни, после которого она прекращается, — настает олимпийское спокойствие. Бесконечно только одно будущее, вечно зовущее, вечно новое, и там тоже есть свой высший момент, которого нужно искать и вечно искать, и это вечное искание и называется жизнью, и сколько мучительной грусти скрывается в энтузиазме поэта! какой бесконечный зов, какая тоска о настоящем в этом энтузиазме к прошедшему!

Конечно, мы согласны, может существовать и такой гаденький антологический червячок, который действительно потерял все чутье действительности, который не понимает, что у него тоже есть жизнь, который перебрался в прошедшее и поселился там, где-нибудь в антологии, не подозревая ни себя, ни вопросов, ни жизненных мук, ни здешнего прихода. Но, во-первых, ведь и червячку надо жить, а во-вторых: лучше что ли его эти бесчисленные толпы грошовых прогрессистов, с убеждениями напрокат, с совестью напрокат, с ослаблением над тем, чьего они праха не стоят, с жалким умишком, вскочившим на фразу и выезжающим на ней подбоченья? Что ж делать! И тем и этим жить надо. Действительность слишком разнообразна. Что ж делать!

Теперь приступим к нашему главному и окончательному ответу на ваш справедливый вопрос о том, почему искусство не всегда совпадает своими идеалами с идеалом всеобщим и современным; яснее: почему искусство не всегда верно действительности?

Ответ на этот вопрос у нас готов.

Мы сказали уже, что вопрос об искусстве, по нашему мнению, не так поставлен в настоящее время, дошел до крайности и запутался от взаимного ожесточения обеих партий. То же самое повторяем мы и теперь. Да, вопрос не так поставлен и по-настоящему спорить не о чем, потому что:

Искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать.

Теперь постараемся ответить на все возражения:

Во-первых, если нам иногда кажется, что искусство уклоняется от действительности и не служит полезным целям, то это только потому, что мы не знаем наверно путей

полезности искусства (о чем уже мы говорили), и кроме того, от излишнего жара в наших желаниях немедленной, прямой и непосредственной пользы; т<о> е<сть> в сущности от горячего сочувствия к общему благу. Такие желания конечно похвальны, но иногда неразумны и похожи на то, как если б дитя, увидя солнце, потребовал, чтоб ему сейчас его сняли с неба и дали.

Во-вторых потому нам иногда кажется, что искусство уклоняется от действительности, что действительно есть сумасшедшие поэты и прозаики, которые прерывают всякое сношение с действительностью, действительно умирают для настоящего, обращаются в каких-то древних греков или средневековых рыцарей и прокисают в антологии или в средневековых легендах.

Такое превращение возможно; но поэт, художник, поступивший таким образом, есть сумасшедший вполне. Таких немного.

В третьих, наши поэты и художники действительно могут уклоняться с настоящего пути или вследствие непонимания своих гражданских обязанностей, или вследствие неимения общественного чутья, или от разрозненности общественных интересов, от несозрелости, от непонимания действительности, от некоторых исторических причин, от не совсем еще сформировавшегося общества, оттого, что многие — кто в лес, кто по дрова, и потому с этой стороны призывы, укоры и разъяснения г<осподина> –бова в высочайшей степени почтенны. Но г<осподин> –бов идет уже слишком далеко. То, что он называет погремушками и альбомными побрякушками, мы, с другой точки зрения, признаем и нормальным и полезным, и таким образом антологические поэты не все до единого сумасшедшие (как признает г<осподин> –бов), а только те из них, которые совсем отрешились от современной действительности, вроде иных наших барынь, проживающих всю жизнь в Париже и потерявших употребление русского языка (на что впрочем их добрая воля). «Побрякушки» же тем полезны, что по нашему мнению мы связаны и исторической и внутренней духовной нашей жизнью и с историческим прошедшим и с общечеловеческостью. Что ж делать? без того ведь нельзя; ведь это закон природы. Мы даже думаем, что чем более человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию. Нельзя же так обстричь человека, что вот дескать это твоя потребность, так вот нет же, не хочу, живи так, а не этак! И какие ни представляйте резоны, — никто не послушается. И знаете еще что: мы уверены, что в русском обществе этот позыв к общечеловеческости, а следовательно и отклик его творческих способностей на все историческое и общечеловеческое и вообще на все эти разнообразные темы, — был даже наиболее нормальным состоянием этого общества, по крайней мере до сих пор, и может быть в нем вековечно останется. Мало того: нам кажется, что этот всечеловеческий отклик в русском народе даже сильнее, чем во всех других народах, и составляет его высшую и лучшую характерность. Вследствие петровской реформы, вследствие нашего усиленного переживания вдруг многих разнообразных жизней, вследствие инстинкта всежизненности, и творчество наше должно было проявиться у нас так характерно, так особенно, как ни в каком народе. Ведь вы восстаете почти против нормального нашего состояния. Ведь литературы европейских народов были нам почти родные, почти наши собственные, отразились в русской жизни вполне, как у себя дома. Вспомните: ведь и вы так воспитаны, г<осподин> –бов. Как вы думаете, ведь явление Жуковского невозможно например у французов, а Пушкина и подавно. Откликнется ли кто-нибудь из европейских самых великих поэтов на все общечеловеческое так родственно, в такой полноте, как откликнулся представитель нашей поэзии — Пушкин? Поэтому-то отчасти мы и называем Пушкина величайшим национальным поэтом (а в будущем и народным, в буквальном смысле слова), потому именно называем, что он есть полнейшее выражение направления, инстинктов и потребностей русского духа в данный исторический момент. Ведь это отчасти современный тип всего русского человека, по крайней мере в историческом и общечеловеческом стремлении его. Нельзя же говорить (потому что так задалось в кабинете), что все эти стремления всего русского духа и бесполезны и глупы и незаконны. И неужели вы например думаете, что маркиз Поза, Фауст и проч<ие> и проч<ие> были бесполезны нашему русскому обществу в его развитии и не будут полезны еще? Ведь не за облака же мы с ними пришли, а дошли до современных вопросов и, кто знает, может быть они тому много способствовали. Вот почему хоть бы например все эти антологии, Илиады, Дианы-охотницы, Венеры и Юпитеры, Мадонны и Данте, Шекспир, Венеция, Париж и Лондон — может быть все это законно существовало у нас и должно у

нас существовать — во-первых по законам общечеловеческой жизни, с которою мы все нераздельны, а во-вторых и по законам русской жизни в особенности.

— Но что вы нас учите! — скажут нам утилитаристы. — Мы очень хорошо и без вас знаем, насколько все это нам было полезно, как связь с Европой, когда мы вдвигались в общечеловечество; знаем очень хорошо, потому что мы сами из всего этого вышли. Но теперь нам покамест не надо никакого общечеловечества и никаких исторических законов. У нас теперь своя домашняя стирка, черное белье выполаскивается, набело переделывается; теперь у нас повсюду корыта, плеск воды, запах мыла, брызги и замоченный пол. Теперь надо писать не про маркиза Позу, а про свои дела, про известные вопросы, про гласность, про полезность, про Крутогорск, про темное царство. Мы ответим на это так: во-первых определить, что именно надо и что не надо, на вес или цифрами, довольно трудно; можно загадывать, можно рассчитывать, позволительно и законно пробовать на деле: так ли выйдет по расчету? желать, убеждать и увещевать других к общей деятельности, — все это законно и в высшей степени полезно. Но писать в «Современнике» указы, но требовать, но предписывать — пиши дескать вот непременно об этом, а не об этом, — и ошибочно и бесполезно (хотя уж потому одному, что ведь не послушаются. Конечно робкого народу у нас много; беда как иные боятся критики! да и самолюбие: отстать от передовых не хочется, — вот и пишут с направлением, да так как пишут — то не по своему вдохновению, то и выходит все почти дрянь; но деспотизм нашей критики пройдет; станут писать по охоте, будут более сами по себе, и может быть и в обличительном роде напишут что-нибудь прекрасное. Давай-то Бог!). К тому же ведь можно ошибиться. Ведь может быть именно то, что наши прогрессивные умы считают несовременным и бесполезным, и есть современное и полезное. Больной не может быть в одно и то же время и больным и врачом. Можно сознавать себя больным, сознавать, что мне нужно лекарство, даже вообще можно знать какое именно нужно лекарство, но рецепта до последней точности себе самому прописать нельзя. А если поэзия, слово, литература есть то же лекарство, то ведь отчасти есть и мерка: что именно в поэзии хорошо, а что неподходяще? Эта мерка в том: чем более симпатии возбуждает в массе поэт, тем стало быть он наиболее оправдывает свое явление. Конечно тут могут быть большие ошибки, капитальные уклонения; примеры были: масса иногда в данный момент и не знает, чего ей нужно, что именно надо любить, чему симпатизировать. Но эти уклонения сами собою скоро проходят и общество всегда само отыскивает потерянный путь. А главное в том, что искусство всегда в высшей степени верно действительности, — уклонения его мимолетные, скоропроходящие; оно не только всегда верно действительности, но и не может быть неверно современной действительности. Иначе оно не настоящее искусство. В том-то и признак настоящего искусства, что оно всегда современно, насущно-полезно. Если оно занимается антологией, *стало быть еще нужна антология*; уклонения и ошибки могут быть, но, повторяем, они преходящи. Искусства же несовременного, несоответствующего современным потребностям и совсем быть не может. Если оно и есть, то оно не искусство; оно мельчает, вырождается, теряет силу и всякую художественность. В этом смысле мы идем даже дальше г<осподина> —бова, в его же идее: он еще признает, что существует бесполезное искусство, чистое искусство, не современное и не насущное, и ополчается на него. А мы не признаем совсем такого искусства, и спокойны, — незачем ополчаться; а если и будут уклонения, то беспокоиться нечего: сами собою пройдут, и скоро пройдут.

— Но позвольте, — спросят нас, — на чем же вы основываетесь, из чего именно вы заключаете что настоящее искусство никак и не может быть несовременным и неверным насущной действительности?

Отвечаем:

Во-первых, по всем вместе взятым историческим фактам, начиная с начала мира, до настоящего времени, искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала, — рождалось с человеком, развивалось рядом с его исторической жизнью и умирало вместе с его исторической жизнью.

Во-вторых (и главное) творчество, основание всякого искусства, живет в человеке, как проявление части его организма, но живет нераздельно с человеком. А следственно творчество и не может иметь других стремлений, кроме тех, к которым стремится весь человек. Если б оно пошло другим путем, значит оно бы пошло в разлад с человеком, значит разъединилось бы с ним. А следственно изменило бы законам природы. Но человечество еще покамест здорово, не вымирает и не изменяет законам природы (говоря

вообще). А следственно и за искусство опасаться нечего, — и оно не изменит своему назначению. Оно всегда будет жить с человеком его настоящею жизнью; больше оно ничего не может сделать. Следственно оно останется навсегда верно действительности.

Конечно в жизни своей человек может уклоняться от нормальной действительности, от законов природы; будет уклоняться за ним и искусство. Но это-то и доказывает его тесную, неразрывную связь с человеком, всегдашнюю верность человеку и его интересам.

Но все-таки искусство тогда только будет верно человеку, когда не будут стеснять его свободу развития.

И потому первое дело: не стеснять искусства разными целями, не предписывать ему законов, не сбивать его с толку, потому что у него и без того много подводных камней, много соблазнов и уклонений, неразлучных с исторической жизнью человека. Чем свободнее будет оно развиваться, тем нормальнее разовьется, тем скорее найдет настоящий и *полезный* свой путь. А так как интерес и цель его одна с целями человека, которому оно служит и с которым соединено нераздельно, то чем свободнее будет его развитие, тем более пользы принесет оно человечеству.

Поймите же нас: мы именно желаем, чтоб искусство всегда соответствовало целям человека, не разрознивалось с его интересами, и если мы и желаем наибольшей свободы искусству, то именно веруя в то, что чем свободнее оно в своем развитии, тем полезнее оно человеческим интересам. Нельзя предписывать искусству целей и симпатий. К чему предписывать, к чему сомневаться в нем, когда оно, нормально развитое, и без ваших предписаний, по закону природы, не может идти в разлад потребностям человеческим? Оно не потеряется и не собьется с дороги. Оно всегда было верно действительности и всегда шло наряду с развитием и прогрессом в человеке. Идеал красоты, нормальности, у здорового общества не может погибнуть; и потому оставьте искусство на своей дороге и доверьтесь тому, что оно с нее не собьется. Если и собьется, то *тотчас же воротится назад*, откликнется на первую же потребность человека. Красота есть нормальность, здоровье. Красота полезна, потому что она красота, потому что в человечестве — всегдашняя потребность красоты и высшего идеала ее. Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит есть и потребность здоровья, нормы, а следственно тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа. Частный человек не может угадать вполне вечного, всеобщего идеала, — будь он сам Шекспир, — а следственно не может *предписывать* ни путей, ни цели искусству. Гадайте, желайте, доказывайте, подзывайте за собой, — все это позволительно; но предписывать непозволительно; быть деспотом непозволительно; а ведь вот хоть бы с г<осподином> Никитиным вы, г<осподин> —бов, обошлись почти деспотически. — Пиши про свои нужды, описывай нужды и потребности своего сословия, — долой Пушкина, не смей восхищаться им, а восхищайся вот тем-то и тем-то и описывай то-то. — Да Пушкин был мое знамя, мой маяк, мое развитие, — восклицает г<осподин> Никитин (или мы за г<осподина> Никитина); — я мещанин, — он протянул мне руку оттуда, где свет, где просвещение, где не гнетут оскорбительные предрассудки, по крайней мере так, как в моей среде; он был мой хлеб духовный. — Не надо, вздор! пиши про свои нужды. — Но ведь я сам нуждающийся, — продолжает г<осподин> Никитин, — физический хлеб есть у меня, но мне надобен хлеб духовный. Не отнимайте же у меня этого хлеба, желая его всем. Всем-то желаете, а как к делу пришлось, у меня первого и отнимаете. Вы хотите, чтоб я описывал свой быт, свои нужды. Да я может и буду описывать! Только теперь-то позвольте пожить высшей жизнью. Для вас она не высшая, вы ее уже презираете, а для меня — знаете, как она еще соблазнительна!.. — Мы ручаемся за г<осподина> Никитина, прибавляем мы тут же с своей стороны, дайте ему пожить теперь, как он хочет. Пушкин для него теперь все. Ведь и мы к современным вопросам прошли через Пушкина; ведь и для нас он был началом всего, что теперь есть у нас. А г<осподину> Никитину он больше чем родной. Пушкин — знамя, точка соединения всех жаждущих образования и развития; потому что он наиболее художествен, чем все наши поэты, следовательно наиболее прост, наиболее пленителен, наиболее понятен. Тем-то он и народный поэт, что всем понятен. Перейдет г<осподин> Никитин через Пушкина, и если у него действительно есть талант, — поверьте, г<осподин> —бов, дойдет, как и мы, до современных вопросов и будет писать с направлением. А требовать от него теперь, ведь это... ведь это будет... как бы это выразиться: ведь это будет кабинетный скачок...

Но довольно! Мы не имеем чести знать г<осподина> Никитина и социального его положения; мы знаем только, что он мещанин, о чем он сам публиковал при издании своих сочинений. Если г<осподин> Никитин совсем не в таком положении, в котором мы

его теперь представили, то просим у него извинения. В таком случае, вместо него, мы ставим лицо отвлеченное, сочиненное, г<осподина> N.

III.

КНИЖНОСТЬ И ГРАМОТНОСТЬ

Статья первая.

Читать, читать, а после — хватать!
Фамусов. «Горе от ума».

В прошлом и в нынешнем году много говорили у нас, и в литературе и в обществе, о необходимости книги для народного чтения. Делались попытки издания такой книги, предлагались проекты, чуть ли не назначались премии. «Отечественные Записки» напечатали в своей февральской книжке проект «Читальника» т<о> е<сть> книги для народного чтения, и почти с укоризною обращались к нашим литераторам: — Вот, дескать, мы напечатали проект «Читальника»; а кто отзовется на этот проект? хоть бы кто из литераторов сказал о нем свое мнение. — Мы именно хотим теперь заняться этим разбором. Но прежде чем мы приступим к нему, скажем несколько слов и о любопытном общественном явлении, именно о появлении подобных проектов и о всеобщих хлопотах высшего общества образовывать низшее. Мы говорим: «всеобщих» потому что *настоящее* высшее, т<о> е<сть> прогрессивное общество, всегда увлекало за собой большинство всех высших классов русского общества, и потому, если и есть теперь несогласные на народное образование, то их скоро не будет: все увлекутся за прогрессивным большинством, и если останутся крайние упорные, то замолчат от бессилия.

Мы потому говорим об этом так *наверно*, что в обществе постиглась наконец полная необходимость всенародного образования. Постиглась же потому, что само общество дошло до этой идеи как до необходимости, увидело в ней элемент и собственной жизни, условие собственного дальнейшего существования. Мы этому рады: мы говорили еще в объявлении о нашем журнале: «грамотность прежде всего, грамотность и образование усиленные, — вот единственное спасение, единственный передовой шаг, теперь остающийся и который можно теперь сделать. Мало того: даже при возможности и других шагов грамотность и образование все-таки остаются единственным первым шагом, который *надо* и должно сделать». Мы обещались особенно стоять за грамотность, потому что в распространении ее заключается единственное возможное соединение наше с нашей родной почвой, с народным началом. Мы сознали необходимость этого соединения, потому что не можем существовать без него; мы чувствуем, что истратили все наши силы в отдельной с народом жизни, истратили и попортили воздух, которым дышали, задыхаемся от недостатка его и похожи на рыбу, вытасченную из воды на песок. Но обо всем этом скажем подробнее после. Обратим сперва внимание на факт в высшей степени поразительный и знаменательный, на факт, имеющий даже глубокое историческое значение в русской жизни, поразивший нас уже давно, но проявившийся теперь в чрезвычайно резком явлении. Мы говорили об этом факте и прежде. Теперь же видим яркое доказательство того, что мы не ошибались в его существовании.

Этот факт — глубина пропасти, разделяющей наше цивилизованное «по-европейски» общество с народом. Посмотрите: как дошло до дела, то и оказалось, что мы даже не знаем с чем и подступить к народу. Явилась идея о всенародном образовании; вследствие этой идеи явилась потребность в книге для народного чтения, и вот мы становимся совершенно в тупик. Задача в том: как составить такую книгу? что именно дать народу читать? Не говорим уже о том, что мы все как-то уж молча, безо всяких лишних слов, разом сознали, что все написанное нами, вся теперешняя и прежняя литература, не годится для народного чтения. Верно это или нет, — другой вопрос; ясно только то, что мы все как будто согласились, без спора, что народ в ней ровно ничего не поймет. А согласившись в том, мы все безмолвно признали факт разъединения нашего с народом.

— В этом факте ровно ничего нет особенно поражающего, — могут нам ответить. — Дело ясное: один класс образованный, другой нет. Необразованный класс не поймет образованного с первого разу. Это случалось и случается всегда и везде, и тут нет никакого особенного значения.

Положим так, мы теперь не будем спорить об этом. Но *мы* все-таки до сих пор не придумали, что дать народу читать. Это как вам покажется? Ведь надо же согласиться, что промахи наши в этом случае пресмешные, удивительные. Посмотрите на все проекты народных «читальников» (уж одно то, что об этом пишут проекты!). Написаны они людьми умными и добросовестными; а между тем ошибка на ошибке. Некоторые же ошибки доходят до комического.

А между тем, опять повторяем, все эти читальники, все эти проекты пишутся у нас литераторами опытными и талантливыми. Иные из них приобрели себе славу знатоков народной жизни. Что ж они до сих пор сделали?

Скажем более: мы, с своей стороны, в высочайшей степени уверены, что даже самые лучшие наши «знатоки» народной жизни до сих пор в полной степени не понимают, как широка и глубока сделалась яма этого разделения нашего с народом, и не понимают по самой простой причине: потому что никогда не жили с народом, а жили другою, особенною жизнью. Нам скажут, что смешно представлять такие причины, что все их знают. Да, говорим мы, все знают; но знают отвлеченно. Знают например, что жили отдельной жизнью; но если б узнали, до какой степени эта жизнь была отдельна, то не поверили бы этому. Не верят и теперь. Те, которые действительно изучали народную жизнь, даже жили с народом, т<o> е<сть> жили с ним не в особой помещичьей усадьбе, а рядом с ним, в их избах жили, *смотрели* на его нужды, видели все его особенности, прочувствовали его желанья, узнали его воззрения, даже склад его мыслей и проч<ее> и проч<ее>. Они ели вместе с народом, его же пишу; другие даже *пили* с ним. Наконец есть и такие, которые даже вместе с ним работали, т<o> е<сть> работали его же простонародную работу. Хоть мало таких, да есть. И что ж? Эти люди вполне убеждены, что они знают народ. Они даже засмеются, если мы будем им противоречить и скажем им: Вы, господа, знаете одну внешность; вы очень умны, вы много заметили, но настоящей жизни, сущности жизни, сердцевины ее вы не знаете. Простолюдин будет говорить с вами, рассказывать вам о себе, смеяться вместе с вами; будет пожалуй плакать перед вами (хоть и не с вами), но никогда не сочтет вас за своего. Он никогда серьезно не сочтет вас за своего родного, за своего брата, за своего настоящего *посконного* земляка. И никогда, никогда не будет он с вами доверчив. Пусть сами вы оденетесь (или судьба вас оденет) во все посконное, пусть вы будете даже работать вместе с ним и нести все труды его, он и этому не поверит. Бессознательно не поверит, т<o> е<сть> не поверит, если б даже и хотел поверить, потому что эта недоверчивость вошла в плоть и кровь его.

Разумеется, причина тому во-первых вся предыдущая наша история, во-вторых взаимная слишком долгодетная отвычка друг от друга, основанная на разности интересов наших. Доверенность народа теперь надо заслужить; надо его полюбить, надо пострадать, надо преобразиться в него вполне. Умеем ли мы это? Можем ли это сделать, доросли ли до этого?

Наш ответ: доростаем и доростем. Мы оптимисты, мы верим. Русское общество должно соединиться с народною почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое условие его существования; а когда что-нибудь стало насущною необходимостью, то разумеется делается.

Да; но как это делается?

В нынешнем году правительство высочайшим манифестом даровало народу новые права. Таким образом призвало его к наибольшей самостоятельности и самодеятельности, одним словом к развитию. Мало того: оно до половины завалило ров, разделявший нас с народом, остальное сделает жизнь и многие условия, которые теперь необходимо войдут в самую сущность будущей народной жизни. В то же время высшее общество, прожив эпоху своего сближения с Европой, свою эпоху цивилизации, почувствовало само собой необходимость обращения к родной почве. Эта необходимость предчувствовалась уже задолго прежде, и при первой возможности выразиться, — выразилась. Оба исторические явления совершились вместе и пойдут параллельно.

Кстати: наши журналы в последнее время довольно много толковали о народности. Особенно выходили из себя «Отечественные Записки». «Русский Вестник», вступив благополучно на свою новую, болгаринскую дорогу, дошел наконец до того, что, по свидетельству «Отечественных Записок», усомнился даже в существовании русской народности.

И кто же вознегодовал на «Русский Вестник», кто серьезно начал защищать и отстаивать перед ним действительность русской народности, т<о> е<сть> доказывать ему, что она существует? «Отечественные Записки», те самые «Отечественные Записки», которые *ничего* не признают народного в Пушкине. Что за комизм!

Между прочим «От. Записки» говорят:

...Мысль, сказанная нами год назад (т<о> е<сть> что в Пушкине ничего нет народного), не была плодом того ярого журнального раздражения, которое многих заставляет говорить вещи дикие, лишь бы обратить на себя внимание: этим промыслом, слава Богу, мы не имеем надобности заниматься.

О Боже мой! верим, вполне верим. Вы так *добродушно* напали на Пушкина и с таким *добродушием*, вот уже целый год, попрекаете литераторов в том, что на статью вашу не обращают серьезного внимания, что мы никаким образом не можем принять вас за ярого Герострата или кого-нибудь в этом роде. Такая слава вам не нужна. Вы люди «ученые», вам дороже всего *«истина»*. По-нашему — вы просто немецкие гелертеры, переложенные на петербургские нравы, серьезно отыскивающие с фонарем в руках русскую народность, которая от вас спряталась, и не видящие, что у вас происходит под самым носом.

А что, если к довершению комизма, покамест вы будете спорить с «Русским Вестником» и доказывать ему, что есть русская народность, а он обратно, что нет русской народности, — что если вдруг русская народность возьмет да найдет вас сама? Куда денутся тогда все *аглицкие* теории «Русского Вестника» и аглицкие масштабы, под которые не подходила русская народность! Воображаю я и защитника ее в «Отеч. Записках». Он будет чрезвычайно удивлен.

— Но ведь это не русская народность? — скажет он, смотря ей прямо в глаза.

— Нет-с, это русская народность, — кто-нибудь ответит ему.

— Гм! «может быть да, а может быть нет»; во всяком случае я не узнаю ее.

— Очень может быть, но только это она.

— Гм! Неужели?

— Да.

— Как-то не верится... Во-первых, обусловлено ли это явление? Совпадает ли оно с известными и принятыми наукой принципами? Между прочим г<осподин> Буслаев говорит в своей книге...

И так далее, и так далее. Одним словом, повторяется случай с «метафизиком».

Да, они метафизики. Нам говорят (и мы не один раз это слышали), что «Отечественным Запискам» отвечать стыдно. Почему? что за аристократизм? Нам говорят, что нельзя говорить с теми, которые самых простых вещей не понимают, языка русского не понимают, так как нельзя говорить с слепыми о цветах, с глухими о музыке.

— Положим так: с слепыми трудно говорить о цветах; но мы ведь вовсе не хотим разуверять и переубеждать *ученый* журнал. Мы говорим для публики. Признаемся, мы намерены даже тиснуть особую статью в ответ на все мнения г<осподина> Дудышкина.

Конечно, отвечать г<осподину> Дудышкину чрезвычайно *трудно*, но ведь без труда ничего не делается...

Вообразите, например, хоть бы образ русского летописца в Борисе Годунове. Вам вдруг говорят, что в нем нет ничего русского, ни малейшего проявления народного духа, потому что это лицо выдуманное, сочиненное; потому что никогда не бывало у нас, при царях московских, таких уединенных, независимых монахов-летописцев, которые умерли для света и для которых истина в их елейном смиренно-мудром прозрении стала дороже всего; летописцы, говорят нам, были люди чуть не придворные, любившие интригу и тянувшие в известную сторону. Да хоть бы и так, вскрикиваете вы в удивлении: неужели пушкинский летописец, хоть бы и выдуманный, — перестает быть верным, древнерусским лицом? Неужели в нем нет элементов русской жизни и народности, потому что он исторически неверен? А поэтическая правда? Стало быть поэзия игрушка? Неужели Ахиллес не действительно греческий тип, потому что он, как лицо, может быть никогда и не существовал? Неужели Илиада не народная древнегреческая поэма, потому что в ней все лица явно пересозданные из народных легенд и даже, может быть, просто выдуманные?

А ведь «Отечественные Записки» сплошь да рядом щеголяют подобными доказательствами. Ну что после этого им отвечать, когда главного-то дела, сердцевины-то дела они не понимают?

Онегин, например, у них тип не народный. В нем нет ничего народного. Это только портрет великосветского шалопака двадцатых годов.

Попробуйте поспорить.

— Как не народный? — говорим, например, мы. — Да где же и когда так вполне выразилась русская жизнь той эпохи, как в типе Онегина? Ведь это тип исторический. Ведь в нем до ослепительной яркости выражены именно все те черты, которые могли выразиться у одного только русского человека в известный момент его жизни, — именно в тот самый момент, когда цивилизация в первый раз ощутилась нами как жизнь, а не как прихотливый прививок, а в то же время и все недоумения, все странные, неразрешимые по-тогдашнему вопросы, в первый раз, со всех сторон, стали осаждают русское общество и проситься в его сознание. Мы в недоумении стояли тогда перед европейской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти с нее как от истины, принятой нами безо всякого колебания за истину, и в то же время, в первый раз, настоящим образом стали сознавать себя русскими и почувствовали на себе, как трудно разрывать связь с родной почвой и дышать чужим воздухом...

— Да с какой стати вы находите это все в Онегине? — прерывают нас *ученые*. — Разве это в нем есть?

— А как же? разумеется есть... Онегин именно принадлежит к той эпохе нашей исторической жизни, когда чуть не впервые начинается наше томительное сознание и наше томительное недоумение, вследствие этого сознания, при взгляде кругом. К этой эпохе относится и явление Пушкина, и потому-то он первый и заговорил самостоятельным и *сознательным* русским языком. Тогда мы все вдруг стали прозирать и увидели в окружающей русской жизни явления странные, не подходящие под так называемый европейский наш элемент и в то же время не знали, хорошо ли это или дурно, уродливо или прекрасно? Это было первым началом той эпохи, когда наши передовые люди резко разделились на две стороны и потом горячо вступили в междоусобный бой. Славянофилы и западники ведь тоже явление историческое и в высшей степени народное. Ведь не из книжек же произошла сущность их появления? Как вы думаете? Но при Онегине все это еще только едва сознавалось, едва предугадывалось. Тогда, т<о> е<сть> в эпоху Онегина, мы с удивлением, с благоговением, а с другой стороны, чуть не с насмешкой стали впервые понимать, что такое значит быть русским, и, к довершению странности, все это случилось именно тогда, когда мы только что начали настоящим образом сознавать себя европейцами и поняли, что мы тоже должны войти в общечеловеческую жизнь. Цивилизация принесла плоды, и мы начали кое-как понимать, что такое человек, его достоинство и значение, — разумеется по тем понятиям, которые выработала Европа. Мы поняли, что и мы можем быть европейцами не по одним только кафтанам и напудренным головам. Поняли и — не знали что делать. Мало-помалу мы стали понимать, что нам и нечего делать. Самодеятельности для нас не оставалось никакой, и мы бросились с горя в скептическое саморассматривание, саморазглядыванье. Это уже не был холодный, наружный, кантемировский или фон-визинский скептицизм. Скептицизм Онегина в самом начале своем носил в себе что-то трагическое и отзывался

иногда злобной иронией. В Онегине в первый раз русский человек с горечью сознает или по крайней мере начинает чувствовать, что на свете ему нечего делать. Он европеец: что ж принесет он в Европу, и нуждается ли еще она в нем? Он русский: что же сделает он для России, да еще понимает ли он ее? Тип Онегина именно должен был образоваться впервые в так называемом высшем обществе нашем, в том обществе, которое наиболее отрешилось от почвы и где внешность цивилизации достигла высшего своего развития. У Пушкина это чрезвычайно верная историческая черта. В этом обществе мы говорили на всех языках, празднично ездили по Европе, скучали в России и в то же время сознавали, что мы совсем не похожи на французов, немцев, англичан, что тем есть дело, а нам никакого, они у себя, а мы — нигде.

Онегин — член этого цивилизованного общества, но он уже не уважает его. Он уже сомневается, колеблется; но в то же время в недоумении останавливается перед новыми явлениями жизни, не зная, поклониться ли им, или смеяться над ними. Вся жизнь его выражает эту идею, эту борьбу.

А между тем, в сущности, душа его жаждет новой истины. Кто знает, он может быть готов броситься на колена пред новым убеждением и жадно, с благоговением принять его в свою душу. Этому человеку не устоять; он не будет никогда прежним человеком, легкомысленным, не сознающим себя и наивным; но он ничего и не разрешит, не определит своих верований; он будет только страдать. Это первый страдалец русской сознательной жизни.

Русская жизнь, русская природа пахнула на него всем обаянием своим. Прошла перед ним и русская девушка, — тип единственный до сих пор во всей нашей поэзии, перед которым с такою любовью преклонилась душа Пушкина, как перед родным русским созданием. Онегин не узнал ее, и как следует сначала поломался над ней, отчасти оказался и хорошим человеком, и сам не знал, что сделал: хорошо или дурно? Зато он очень хорошо знал, что сделал дурно, застрелив Ленского... Начинаются его мучения, его долгая агония. Проходит молодость. Он здоров, силы просятся наружу. Что делать? за что взяться? Сознание шепчет ему, что он пустой человек, злобная ирония шевелится в душе его, и в то же время он сознает, что он и не пустой человек: разве пустой может страдать? Пустой занялся бы картами, деньгами, чванством, волокитством. Чего ж он страдает? Оттого, что нельзя ничего делать? Нет, это страдание достанется другой эпохе. Онегин страдает еще только тем, что не знает что делать, не знает даже что уважать, хотя твердо уверен, что есть что-то, которое надо уважать и любить. Но он озлобился, и не уважает ни себя, ни мыслей, ни мнений своих; не уважает даже самую жажду жизни и истины, которая в нем; он чувствует, что хоть она и сильна, но он ничем для нее не пожертвовал — и он с иронией спрашивает: чем же ей жертвовать, да и зачем? Он становится эгоистом и между тем смеется над собой, что даже и эгоистом быть не умеет. О, если б он был настоящим эгоистом, он бы успокоился!

Чего мне ждять? тоска, тоска!

воскликает это дитя своей эпохи среди неразрешимых сомнений, странных колебаний, невыяснившихся идеалов, погибшей веры в прежние идолы, детских предрассудков и неутомимой веры во что-то новое, неизвестное, но непременно существующее и никаким скептицизмом, никакой иронией не разбиваемое. Да! это дитя эпохи, это вся эпоха, в первый раз сознательно на себя взглянувшая. Нечего и говорить, до какой полноты, до какой художественности, до какой обаятельной красоты все это — русское, наше, оригинальное, непохожее ни на что европейское, народное. Этот тип вошел наконец в сознание всего нашего общества и пошел перерождаться и развиваться с каждым новым поколением. В Печорине он дошел до неутолимой, желчной злобы и до странной, в высшей степени оригинально-русской противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же время злобного самонеуважения. И все та же жажда истины и деятельности, и все то же вечное роковое *нечего делать!* От злобы и как будто на смех, Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти.

И все ведь это действительная правда, повторялось *действительно* в нашей жизни. Явилась потом смеющаяся маска Гоголя, с страшным могуществом смеха, — с могуществом, не выражавшимся так сильно еще никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает пред нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не смеяться. Но время идет вперед и последняя точка нашего сознания

достигнута. Рудин и Гамлет щигровского уезда уже не смеются над своей деятельностью и своими убеждениями: они веруют, и эта вера спасает их. Они только смеются иногда над самими собою, они еще не умеют уважать себя, но они уже почти не эгоисты. Они много, бескорыстно выстрадали... В наше время прошли уж и Рудины...

— Да помиуйте! — восклицает ученый журнал: — где же, в чем тут народность?

— **Как** народность? — говорим мы, разинув рот от недоумения.

— Ну да, русская народность! — говорит г<осподин> Краевский, стараясь помочь г<осподину> Дудышкину: — ну там сказки, песни, легенды, предания... ну и все прочее...

— То есть не совсем то, — поспешно прерывает г<осподин> Дудышкин своего достойного сотрудника по критической части; — а вот что: «вся ли Русь исповедует элементы поэзии Пушкина, или только мы одни, образованные? Ведь народный поэт носит в себе и политические, и общественные, и религиозные, и семейные убеждения народа». Ну что ж это за народный поэт, если ничего из его поэзии не проникло в народ, в *настоящий* народ?

— А вот и договорились! Так стало быть вы уж не признаете и за народ высшее общество, так называемых «образованных»? Что ж они по-вашему, — уж и не русские? Да что за дело *в этом случае*, что народ, государственным переворотом, так резко разделился на две половины? Вся разница в том, что одна половина образованная, другая нет. — Ведь образованная половина доказала же, что она тоже русская, тот же народ; ведь дошла же она до мысли о соединении с народным началом. А так как эта образованная половина более развита, более сознает, чем необразованная, то в ней и явился народный поэт. А вам бы хотелось такого народного поэта, который заговорил бы прямо народным языком, прежде совершившегося в народе процесса развития и сознания? Да когда же и где это бывало? Трудно и представить себе такого поэта. Если у французов есть например Беранже, то разве он для всего народа поэт? Он поэт только парижан: огромное большинство французов и не знает и не понимает его, потому что не развито и не может понять, а сверх того исповедует и другие интересы. А если Беранже все-таки не так далек от сознания не понимающего его большинства, как у нас Пушкин от простонародья, то это потому, что подобного исторического раздвоения народа, как у нас, во Франции не было. Да позвольте наконец: вы кажется прямо определяете народность — простонародностью? Неудивительно после того, что вас никто не понимает. Почему, с какой стати народность может принадлежать только одной простонародности? Разве с развитием народа исчезает его народность? Разве мы, «образованные», уж и не русский народ? Нам кажется даже напротив: с развитием народа развиваются и крепнут все дары его природы, все богатства ее, и дух народа еще ярче выступает наружу. Разве во времена Перикла греки были уже не греки, как триста лет назад? Вы думаете, мы себе противоречим, доказывая необходимость возвратиться к народному началу, то есть сами признаемся, что мы немцы, а не русские? Ничуть; мы именно тем-то и доказали, что мы русские, что признаем необходимость воротиться на родную почву. Мы сознали только, что мы разъединились чисто внешними обстоятельствами. Эти внешние обстоятельства не давали остальной массе народа следовать за нами и таким образом привнести в нашу деятельность *все* силы русского народного духа. Мы сознаем только то, что мы слишком уединенная и маленькая кучка, и если народ не пойдет вслед за нами, по той же дороге, то нам нельзя будет вполне себя выразить, и мы выразим себя слишком односторонне, слабосильно и даже — смело можно сказать — даже не так как выразили бы мы себя, если б весь русский народ был с нами. Но из этого еще не следует, чтоб мы потеряли народный дух, чтоб мы переродились. Почему же мы не народ? Почему вы лишаете нас этого почетного названия?

Нет, вы неправы. Вы правы только в одном: что мы не весь народ, а только часть его; но Пушкин, бывший поэтом этой части народа, был в то же время и народный поэт: это бесспорно. Вам это непонятно? Но скажите, повторяем мы опять, где же вы видели такого народного поэта, как вам он представляется? Был ли он когда-нибудь, возможен ли он по вашему идеалу? Рассудите: если явится такой поэт, как вы воображаете, об чем же он будет говорить? Он выразит «все политические, общественные, религиозные и семейные убеждения народа» — говорите вы. Так; Беранже вот и выражал это же, но выразил все это только для небольшой части французов сравнительно с массой всего народонаселения, именно для тех, которые жили, которые заинтересованы были в политическом, общественном, религиозном и семейном движении нации. Остальные же французы даже

может быть и не слышали о Беранже, потому что еще ни в каком движении не участвовали. Когда же будут участвовать, то хотя у них и будет свой новый Беранже (непременно), и выразит он что-нибудь новое, что-нибудь такое, что старому Беранже и не грезилось, но несмотря на то и старый Беранже поймется ими. Они не могут его обойти: во-первых он будет иметь для них историческое значение, а во-вторых потому что он народен, потому что он все-таки выражал мнения, верования и убеждения французского же народа. Точно так и Пушкин. Одна часть (и самая большая) русского народа почти совсем не участвовала в том, в чем участвовала другая, и разъединение продолжалось чрезвычайно долго. Пушкин был народный поэт одной части; но эта часть во-первых была сама русская, во-вторых почувствовала, что Пушкин первый сознательно заговорил с ней русским языком, русскими образами, русскими взглядами и воззрениями, почувствовала в Пушкине русский дух.

Она очень хорошо поняла, что и летописец, что и Отрепьев, и Пугачев, и патриарх, и иноки, и Белкин, и Онегин, и Татьяна — все это Русь и русское. Не одно современное, слегка офранцузенное и отрешившееся от народного духа увидело в нем общество. Общество знало, что так может писать только Булгарин. Разумеется смешно отвечать на такие вопросы: где же это русское семейство, которое хотел изобразить Пушкин, в чем его русский дух, что именно изобразил он русского? Ответ ясен: надобно хоть немножко понимать поэзию. Отбросим все, самое колоссальное, что сделал Пушкин; возьмите только его песни западных славян, прочтите «Видение короля»: если вы русский, то вы почувствуете, что это в высочайшей степени русское, не подделка под народную легенду, а художественная форма всех легенд народных, форма уже прошедшая через сознание поэта, и главное — в первый раз нам поэтом указанная. В первый раз — это не шутка! Да, почти в первый раз вся красота, вся таинственность и все глубокое значение народной легенды было постигнуто массою нашего общества. Вы говорите, что в простонародье не отразился Пушкин? Да, потому что простонародье не двигалось в своем развитии, а не двигалось потому, что не могло двигаться. Оно и грамоте не умеет. Но чуть только развитие коснется народа, Пушкин тотчас же получит и для этой массы свое народное значение. Мало того, будет иметь для нее историческое значение и будет для нее одним из главнейших провозвестников *общечеловеческих* начал, так гуманно и так широко развившихся в Пушкине: а это-то и самое нужное, потому что все раздвоение наше заключалось в том, что одна часть общества пошла в Европу, а другая осталась дома. С общечеловеческим элементом, к которому так жадно склонен русский народ, он, мы уверены, наиболее познакомится через Пушкина.

Скажем более: мы готовы признать, что может явиться народный поэт и в среде самого простонародья, — не Кольцов например, который был неизмеримо выше своей среды по своему развитию, но настоящий простонародный поэт. Такой поэт во-первых может выражать свою среду, но не возносясь над ней отнюдь, а приняв всю окружающую действительность за норму, за идеал. Его поэзия почти совпадала бы тогда с народными песнями, которые сочинялись как-то созерцательно в минуту самого пения. Мог бы он явиться и в другом виде, т<о> е<сть> не принимая за норму все окружающее, а уже отчасти отрицая ее, и изобразить какой-нибудь момент народной жизни, какое-нибудь движение народное, какое-нибудь желание его. Такой поэт мог бы быть очень силен, мог бы выразить неподдельно народ. Но во всяком случае он был бы не глубок и кругозор его был бы очень узок. Во всяком случае Пушкин был бы неизмеримо выше его. Что нужды, что народ, на теперешней степени своего развития, не поймет всего Пушкина? Он поймет его потом, и из его поэзии научится познавать себя. И зачем народный поэт должен быть непременно ниже развитием, чем высший класс народа? По-вашему ведь непременно выходит так. Пушкин на той степени своего развития, на которой он стоял, никогда бы не мог быть понят простонародьем. Неужели ему, для того чтоб его понимало простонародье, следовало непременно идти к нему и, заговорив его языком (что он очень бы сумел сделать), скрыть от народа свое развитие? Народ почти всегда прав в основном начале своих чувств, желаний и стремлений; но дороги его во многом иногда неверны, ошибочны и, что плачевнее всего, форма идеалов народных часто именно противоречит тому, к чему народ стремится, конечно моментально противоречит. В таком случае Пушкину пришлось бы иногда странным вещам поддакивать. Пришлось бы скрывать себя, веровать предрассудкам, чувствовать ложно. Каким же хитрецом представляете вы себе народного поэта, и даже каким пейзажем с фарфоровой чашки!

Но положим наконец, что совсем не надо скрывать свое развитие и надевать маску. Что можно прямо и просто говорить народу истину, без лжи и без фальши, благородно и

смело. Что народ все поймет и оценит, будет благодарен за правду, и что стоит только выговорить эту правду простым и понятным народу языком.

Не будем спорить. Во всяком случае такой поэт был бы не сильнее Пушкина и далеко бы не выразил того, что выразил Пушкин. Для такой деятельности Пушкину надо бы было бросить настоящее свое дело и свое великое назначение, часть сил своих оставить втуне, намеренно сузить свой кругозор и сознательно отказаться от половины своей великой деятельности.

А в чем состояла его великая деятельность? Опять—таки повторяем: чтоб судить об ней, нужно прежде всего хоть немножко понимать поэзию.

«Русский Вестник» между прочим не отдает чести Пушкину потому, что он не известен в Европе; потому что Шекспир, Шиллер, Гёте, проникли всюду в европейские литературы и много привнесли в общечеловеческое европейское развитие, а Пушкин нет. Какое детское требование!

Не говорим уж о том, что и самый факт во многом неверен. В самом деле, действительно ли Шиллер и Гёте известны во Франции? Они известны во Франции несколькими ученым, несколькими серьезным поэтам и литераторам, да и то большею частью по переводам; в оригинале же и того меньше. Шекспир то же: разве в Германии, и то только в образованном кругу, Шекспир известен; но во Франции его слишком мало знают. Не их вина разумеется, но конечно они до сих пор немного сделали для общечеловеческого европейского развития, а были полезны каждый у себя дома*. «Русский Вестник» кажется бессознательно впал в ошибку: он вероятно судил об общечеловеческом влиянии вышепоименованных великих поэтов по русскому обществу. Да, Шиллер действительно вошел в плоть и кровь русского общества, особенно в прошедшем и в запрошедшем поколении. Мы воспитались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии. Шекспир то же. Даже Гёте известен у нас несравненно более, чем во Франции, а может быть и в Англии. Английская же литература бесспорно несравненно нам известнее, чем во Франции, а может быть и в Германии. Но «Русский Вестник» только плюет на эти факты; для него они не факты, потому что не подходят под его мерочку. Ему указывают на факт необыкновенного общечеловеческого стремления русского племени, указывают на одного из провозвестников этого стремления — Пушкина, говорят ему, что явление это неслыханное и беспрецедентное между народами, что оно может свидетельствовать о чрезвычайно оригинальной черте русского характера, что оно может быть есть главная сущность русской народности. Но «Русский Вестник» не слушает, а говорит, что и самой—то народности нет...

А главное, чем виноват Пушкин, что его покамест не знает Европа? Дело в том, что и Россию—то еще не знает Европа: она знала ее доселе только по тяжелой необходимости. Другое дело, когда русский элемент войдет плодотворной струей в общечеловеческое развитие: тогда узнает Европа и Пушкина, и наверно отыщет в нем несравненно больше, чем до сих пор мог отыскать «Русский Вестник». А ведь тогда стыдно будет перед иностранцами—то!..

Россия еще молода и только что собирается жить; но это вовсе не вина.

«Отечественные Записки», отстаивая перед «Русским Вестником» русскую народность, указывают как на доказательство ее действительного существования, на чрезвычайное развитие в России государственного начала.

По—нашему не этим одним, да и вообще не этим можно доказать действительность и особенность русской народности. Особенность ее: бессознательная и чрезвычайная стойкость народа в своей идее, сильный и чуткий отпор всему, что ей противоречит, и вековая, благодатная, ничем не смущаемая вера в справедливость и в правду.

Велик был тот момент русской жизни, когда великая, вполне русская воля Петра решила разорвать оковы, слишком туго сдавившие наше развитие. В деле Петра (мы уж об этом теперь не спорим) было много истины. Сознательно ли он угадывал

* Мне рассказывали достоверно о существовании в Париже таких литераторов, которые не знают Барбье. Не то что не читали, а даже имени-то не знают. Где ж им после этого знать Шиллера? <Примеч. автора. — Ред.>

общечеловеческое назначение русского племени, или бессознательно шел вперед, по одному чувству стремившему его, но дело в том, что он шел верно. А между тем форма его деятельности, по чрезвычайной резкости своей, может быть была ошибочна. Форма же, в которую он преобразовал Россию, была бесспорно ошибочна. Факт преобразования был верен, но формы его были не русские, не национальные, а нередко и прямо, основным образом противоречившие народному духу.

Народ не мог видеть окончательной цели реформы, да вряд ли кто-нибудь понимал ее даже из тех, кто пошел за Петром, даже из так называемых «птенцов гнезда Петрова»; они пошли за преобразователем слепо, и помогали власти для своих выгод. Если не все, то почти так. Где же было тогда народу угадать, куда ведут его? До него и теперь-то достигла только одна грязная струя цивилизации. Конечно невозможно, чтобы хоть что-нибудь не прошло в народ живо и плодотворно, хоть бессознательно, хоть только в возможности. Но то, что было в реформе нерусского, фальшивого, ошибочного, то народ угадал разом, с первого взгляда, одним чутьем своим и так как — повторяем — не мог видеть хорошей, здоровой стороны ее, то весь, одним разом от нее отшатнулся. И как стойко и спокойно он умел сохранить себя, как умел умирать за то, что он считал правдой!

Но идея Петра совершилась и достигла в наше время окончательного развития. Кончилось тем, что мы приняли в себя общечеловеческое начало и даже сознали, что мы-то может быть и назначены судьбою для общечеловеческого мирового соединения. Если не все сознали это, то многие сознают. Но по крайней мере все сознаются, что цивилизация привела нас обратно на родную почву. Она не сделала нас исключительно европейцами, не перелила нас в какую-нибудь готовую европейскую форму, не лишила народности. «Русский Вестник» бесконечно неправ, говоря, что «там, где идет спор о народности, там значит ее нет», и «Отечественные Записки» совершенно правы, отвечая ему на это:

На это ответит вам история литературы в Германии в начале XIX века и во Франции, где те же споры составили целый период литературы, только назывались не спорами о народности, а спорами о романтизме. Эти споры были занесены и к нам, но слишком преждевременно, и мы не были готовы принять их и понять во всей глубине. Известен результат этих споров и на западе: крутой поворот европейских литератур к самостоятельности, к народности...

Цивилизация не развила у нас и сословий: напротив, замечательно стремится к сглажению и к соединению их воедино. Может быть «Русскому Вестнику» это очень досадно, но английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не будет, мы в это верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже развиваться не может: сословия у нас напротив сливаются; теперь покамест еще все в брожении, ничто вполне не определилось, но зато начинает уже предчувствоваться наше будущее. Идеал этого слития сословий воедино выразится яснее в эпоху наибольшего всенародного развития образованности.

Образованность и теперь уже занимает у нас первую ступень в обществе. Всё уступает ей; все сословные преимущества, можно сказать, тают в ней... В усиленном, в скорейшем развитии образования — вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный, сознательный путь вперед и, что важнее всего, путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе.

Настоящее высшее сословие теперь у нас — сословие образованное. Но без настоящего, серьезного, правильного образования тотчас же является в обществе феномен, в высшей степени вредный и пагубный: это *наука вне науки*. Так как жажда знаний и науки никаким образом не может уничтожиться в обществе, тем более в теперешнем нашем, то при малом развитии настоящего, правильного обучения, желающие учиться начинают учиться самоучкой, без системы, без правил, нередко выбирая себе учителей неудачно или, что еще хуже, односторонне знакомых с наукой. Таким образом ложные идеи прививаются к обществу, особенно молодому и неопытному, укореняются в нем и приносят впоследствии, а иногда и вскорости, неприятные, вредные результаты. Совершенно напротив происходит при правильном, широком развитии образования. У настоящей науки есть свои приемы, предания, системы. Настоящий хранитель такой науки не дает молодому уму сбиться на ложную дорогу. Он предохранит учащегося от заблуждения, потому что действует на него всей силой науки, всем преданием ее, всем тем, до чего правильно и стойко дошел ум человеческий.

Только образованием можем мы завалить и глубокий ров, отделяющий нас теперь от нашей родной почвы. Грамотность и усиленное распространение ее — первый шаг всякого образования.

Когда-то «Отечественные Записки» жестоко смеялись над нами, что мы, провозглашая о необходимости соединения общества с народным началом, несем ему ту же самую европейскую цивилизацию, которую сами же отвергаем.

Отвечаем:

Мы возвращаемся на нашу почву с сознательно выжитой и принятой нами идеей общечеловеческого нашего назначения. К этой-то идее привела нас сама цивилизация, которую в смысле исключительно европейских форм, мы отвергаем. Возвращение наше свидетельствует, что из русского человека цивилизация не могла сделать немца и что русский человек все-таки остался русским. Но мы сознали тоже, что идти далее нам одним было нельзя; что в помощь нашему дальнейшему развитию необходимы нам и все силы русского духа. Мы приносим на родную нашу почву образование, показываем прямо и откровенно, до чего мы дошли с ним и что оно из нас сделало. А затем будем ждать, что скажет вся нация, приняв от нас науку, будем ждать, чтоб участвовать в дальнейшем развитии нашем, в развитии народном, настояще-русском, и с новыми силами, взятыми от родной почвы, вступить на правильный путь.

Знание не перерождает человека: оно только изменяет его, но изменяет не в одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре того человека. Оно не сделает и русского нерусским; оно даже нас не переделало, а заставило воротиться к своим. Вся нация конечно скорее скажет свое новое слово в науке и жизни, чем маленькая кучка, составлявшая до сих пор наше общество. Мы только отвергаем исключительно европейскую форму цивилизации и говорим, что она нам не по мерке. <...>

<V.>

Статья пятая

I.

ПОСЛЕДНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ДЕНЬ»

Когда дела нет, настоящего, серьезного дела, тогда деятели живут как кошки с собаками и начинают между собою разные дразги за принципы и убеждения. Один упрекает другого, что тот не так верует, другой упрекает первого, что тот у себя под носом ничего не видит; третий кричит о книжках и об обертках книжек, четвертый ко всему кроме себя равнодушен, пятый успокоился на незыблемых мировых законах, подводит все и всех под мировой ватерпас и свистит на всех глядя. И так далее, и так далее. Всего не перечтешь. Вот явилась газета «День», всего только пять номеров, а уже поднялась ругань. Явился «новый вопрос» об университетах и вот полился на нас целый водопад статей об университетах. Вот и мы хотим сказать свое слово об этих последних литературных явлениях, и мы будем спорить о принципах, и мы будем упрекать других, что они не так веруют... Что делать! одна для всех колея. А сказать свое слово надо: все участвуют... во всеобщем движении и т<ак> д<алее> и т<ак> д<алее>.

«День» — это та же покойная, но неуспокоившаяся «Русская Беседа», разбитая на газетные листки. Те же имена, те же мысли, те же принципы. Редактором Ив. Аксаков, статьи в первом номере Хомякова, Константина Аксакова (покойников). В журнале всего замечательнее «славянский» и «областной» отделы. Этого нет почти ни в одном теперешнем русском издании, по крайней мере в такой непрерывности, и это ставит газету на довольно любопытное место. Вообще издание очень любопытное.

Кое-где оно уже очень насолило; Аскоченокский, говорят, восторженно похвалил его, а некоторые так даже поспешили похоронить новый «День» (печатно разумеется). В одном петербургском журнале некоторые погребальщики уже *догадались* и о том отделении, к которому надо причислить журнал.

Но господа могильщики неправы.

Тут и слова не может быть о разделе по отделениям.

Мы не за «День» заступаемся и не за взгляды его. Но имя Аксаковых, всех троих, слишком известно, чтоб не знать с кем имеешь дело. И наконец, что за террор мысли? Чуть мыслит человек не по-вашему — губить его, — чем другим нельзя, так хоть клеветой. Что за домашние деспотики! Что за домашний терроризм, вспоенный на кислом молочке!

Но довольно... Скажем и наше слово о новой газете.

Это все те же славянофилы, то же чистое, идеальное славянофильство, нимало не изменившееся, у которого идеалы и действительность до сих пор так странно вместе смешиваются; для которого нет событий и нет уроков. Те же славянофилы, с тою же неутомимую враждой ко всему, что не ихнее и с тою же неспособностью примирения; с тою же ярою нетерпимостью и мелочною, совершенно нерусскою формальностью. Вот для образчика из первого номера «Дня»:

«И на каком же широком просторе разгулялась, да еще и разгуливает эта ложь! Все внутреннее развитие, вся жизнь общества, как проказой, поражены и растлены ею. Ложь! Ложь в просвещении, чисто внешнем, лишенном всякой самодеятельности и творчества. Ложь в вдохновениях искусства, сияющего воплотить чуждые, случайные идеалы. Ложь в литературе, с надменною важностью разрабатывающей задачи, созданные историческими условиями, чуждыми нашей народной, исторической жизни; в литературе, болеющей чуждыми болезнями и *равнодушной к скорбям народным*. Ложь в *порיצании нашей народности, не в силу негодующей, пылкой любви, но в силу внутреннего нечестия, инстинктивно враждебного всякой святыне чести и долга*. Ложь в самовосхвалении, сопряженном с упадком духа и с неверием в свои собственные силы. Ложь в поклонении свободе, уживающемся рядом с побуждениями самого утонченного деспотизма. Ложь в религиозности, преданности вере, прикрывающей грубое безверие. Ложь в торжестве диких учений, созданных бесстыдным невежеством, безбоязненно оскорбляющим общественную совесть и не смиряющимся пред очевидною несокрушимую крепостью коренных основ народной жизни. Ложь в легкомысленной гоньбе за новизною под чужестранною фирмою прогресса и цивилизации. Ложь в гуманности и образованности, которыми, в своей систематической непоследовательности, щеголяет наше общество, допускающее без разбора самые несовместимые начала, закрывающее глаза от выводов, обходящее сознательно все основные вопросы, раболепствующее всем модным кумирам современности, и выдающее за подвиг высокого благородства и терпимости — дешевое уменье замазывать, не разрешая, самые непримиримые противоречия!.. Страшное, невиданное сочетание ребяческой незрелости со всеми недугами дряхлой старости, — и при всем том — исцеление возможно и даже несомненно! Мы это все чувствуем, мы даже не можем и усомниться в том искренно, и заря нашего спасения уже брезжит». <Курсив Ф. Достоевского. — *Ред.*>

Не думаем, чтоб эта заря брезжила для славянофилов. Славянофилы имеют редкую способность не узнавать своих и ничего не понимать в современной действительности. Одно худое видеть — хуже чем ничего не видеть. А если и останавливает их когда что хорошее, то если чуть-чуть это хорошее не похоже на раз отлитую когда-то в Москве формочку их идеалов, то оно безвозвратно отвергается и еще ожесточеннее преследуется, именно за то, что оно смело быть хорошим не так, как раз навсегда в Москве приказано. Впрочем и собственный-то идеал у них еще вовсе не выяснен. Есть у них иногда сильное чутье, тонкое и меткое, некоторых (но отнюдь не всех) основных элементов русской народной особенности. Ни один западник не понял и не сказал ничего лучше о мире, об

общине русской, как Константин Аксаков в одном из самых последних своих сочинений, к сожалению неоконченном. Трудно представить себе понимание более точное, ясное, широкое и плодотворное. Но тот же К. Аксаков пишет статью о русской литературе, помещенную теперь в первом номере «Дня»... Но об ней после. Ответим на приведенную выше выписку.

Скажем прямо: предводители славянофилов известны как честные люди. А если так, то как можно сказать обо всей литературе, что она «равнодушна к скорбям народным»? Как сметь сказать: «о порицании нашей народности, *не в силу негодующей, пылкой любви* <курсив Ф. Достоевского. — *Ред.*>, но в силу внутреннего нечестия, инстинктивно враждебного всякой святыне чести и долга»? Что за фанатизм вражды! Что за резкая уверенность в самых сокровенных помышлениях противников, в сердце и в совести их! Неужели любить родину и быть честными дано в виде привилегии только одним славянофилам? Кто мог сказать это, кто бы решился написать это, кроме человека в последней степени фанатического исступления!.. Да, тут почти пахнет кострами и пытками... Мы не преувеличиваем. В конце статьи нашей мы приведем еще одну тираду из «Дня»: она на многое намекает...

Да, конечно; у нас лжи было много; это правда. Чужие интересы не раз принимались за свои, но если и принимались, то именно потому, что казались *своими*, родными, кровными, а вовсе не потому, что будто бы двигало западниками одно «внутреннее нечестие, инстинктивно враждебное всякой святыне чести и долга». (Как поднялась у вас рука написать это! Нужно во многом сперва заручиться, чтоб взвести такое ужасное обвинение!) Но зачем же не замечать правды, зачем выпускать из виду возрождающуюся со всех сторон жизненность, стремление к действительности, к почве? Если есть ложь, если была она, то наша художественная литература, за десятки последних лет, почти сплошь, относилась к этой лжи *отрицательно*, а не *положительно*. Для славянофилов кажется не существует подобного например факта, что во время самого яркого западничества, доходившего чуть не до последних крайностей, вся художественная литература наша, Гоголь (до болезни его) и все за ним следовавшие, относились к плодам и результатам того же самого западничества — отрицательно. Исчез для них и тот факт, что именно эта самая литература, страстно отрицательная, с неслыханной ни в какой еще литературе силою смеха и добровольного самоосуждения, — благородная и с энтузиазмом шедшая прямо к тому, что считала доблестным и честным, — что эта самая литература восторженно поддерживалась самыми крайними западниками. Но славянофилы до сих пор упорно хотят видеть в западниках своих врагов и говорят о них не иначе как с презрением и проклятием, забывая или лучше не хотят понять, что западничество и даже самые последние его крайности были вызваны непременным желанием самопроверки, самопознания, последней вспышкой жизни в умиравшей петровской реформе и первой вспышкой сознания, его осудившего, т<o> е<сть> было вызвано самим процессом жизни. Будто в западниках не было такого же чутья русского духа и народности, как в славянофилах? Было, но западники не хотели по-факирски заткнуть глаз и ушей перед некоторыми непонятными для них явлениями; они не хотели оставить их без разрешения, и *во что бы ни стало* отнестись к ним враждебно, как делали славянофилы; не закрывали глаз для света и хотели дойти до правды умом, анализом, понятием. Западничество перешло бы свою черту и совестливо отказалось бы от своих ошибок. Оно и перешло ее наконец и обратилось к *реализму*, тогда как славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем, состоящем, в *сущности*, из некоторых удачных изучений старинного нашего быта, из страстной, но несколько книжной и отвлеченной любви к отечеству, из святой веры в народ и в его правду, а вместе с тем (зачем утаивать? отчего не высказать?) — из панорамы Москвы с Воробьевых гор, из мечтательного представления московских бар половины семнадцатого столетия, из осады Казани и Лавры и из прочих панорам, представленных во французском вкусе Карамзиным, из впечатления его же Марфы-посадницы, прочитанной когда-то в детстве, и наконец, из мечтательной картины полного будущего торжества над немцами, несколько даже физического, — над немцами непрощенными и даже, уже после торжества над ними, попрекаемыми. Мы вовсе не хотим смеяться говоря это, да и смеяться-то не над чем; но мы хотели только заявить о несколько мечтательном элементе славянофильства, который иногда доводит его до совершенного неузнания своих и до полного разлада с действительностью. Так что во всяком случае западничество все-таки было реальнее славянофильства, и несмотря на все свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движение осталось на его стороне, тогда как славянофильство постоянно не двигалось с

места и даже вменяло это себе в большую честь. Западничество смело задало себе последний вопрос, с болью разрешило его и через самосознание, воротилось—таки на народную почву и признало соединение с народным началом и спасение в почве. Мы, с своей стороны, заявляем как факт и твердо верим в непреложность его, что в теперешнем, чуть не всеобщем (кроме некоторых крайних и смешных исключений) повороте к почве, сознательном и бессознательном, влияние славянофилов слишком мало участвовало, а даже может быть и совсем не участвовало. Партия движения шла собственным путем и осмыслила свой путь собственным анализом. Но и признав необходимость почвы, она прежнюю жизнь, прежним развитием убедилась, что дело не в проклятии, а в примирении и в соединении, что реформа, отжившая век свой, все—таки внесла к нам великий элемент общечеловечности, заставила нас осмыслить его и поставила его в нашем будущем как главное назначение наше, как закон природы нашей, как главнейшую цель всех стремлений русской силы и русского духа. И заметьте себе: западникам сочувствовала всегда у нас масса общества. Не презирайте ее, эту зарождающуюся массу! не говорите о ней, как уж и слышится с некоторых сторон, что масса нашего общества слишком ничтожна, слишком невежественна, слишком изуродована на европейский лад и уже подгнила, прежде чем хоть во что—нибудь успела сложиться. Не утешайте себя этим, не пренебрегайте инстинктами общества, каковы бы они ни были. Вспомним, что общество страстно сочувствовало западникам и разделяло все их ошибки и увлечения, тогда как постоянно принимало славянофильство за маскарад. А где тайна этого сочувствия массы? Тайна в том, что жизнь, хоть какая—нибудь, что действительность, что обновление, что залого будущего, что даже самый возврат на родную почву и первый шаг к тому — все—таки в руках реалистов, потому что европеизм, западничество, реализм — все—таки это возрожденная жизнь, начало сознания, начало воли, начало новых форм жизни. Западничество шло путем беспощадного анализа и за ним шло все, что могло идти в нашем обществе. Реалисты не боятся результатов своего анализа. Пусть ложь в этой массе, пусть в ней сброд тех лжей, которые с таким ярким наслаждением вы пересчитываете. Мы не боимся этого злорадного исчисления наших болезней. Все эти лжи, если есть они, — заранее определенные судьбою станции пытливого ума и анализа. Пусть это лжи, но движет нас правда. Мы в это веруем. Движение остановиться не может и общество дойдет—таки до окончательного результата по крайней мере теперешних усилий своих; будьте в этом уверены.

Но вы являетесь с газетой. Вы не хотите стоять в стороне от всеобщего движения. Вы хотите отзываться на современные явления жизни живым, неустанным словом, войти с усиленною против прежнего деятельностью в эту толчею почти чуждых вам (как вы сами заявляете) интересов. Мы рады товариществу; но ведь товарищем вы не будете. Вы все—таки будете нас учить нестерпимо свысока... учить, непрерывно учить; смеяться над нашими ошибками; не признавать наших мук и страданий; осуждать их со всею жестокостью иступленного идеализма и... и... Но вы уж и начали. Смотрите как тот же К. Аксаков, в статье своей, в 1 № «Дня», относится сплошь ко всей русской литературе. Он смотрит на нее враждебно—скептически, он отрицает в ней все *свое*, с легкостью нестерпимую от серьезно болеющего сердцем человека, с уловкой свысока—оскорбительной. Даже если б он был прав совершенно в суждении своем, то легкость, скептицизм статьи, это самообожание в величавом отделении себя от всего с ним рядом живущего, этот презрительный взгляд, скользящий сверху и не удостоивающий ни над чем серьезно остановиться, не удостоивающий ничего оценить, — уж одно это было бы в высшей степени бессердечно и легкомысленно. У него вся литература наша — сплошь подражание и стремление к иноземному идеалу. Он отрицает всякое проявление сознания общественного в нашей литературе, не верит анализу в ней проявлявшемуся, самоосуждению, мукам, смеху, в ней отражавшимся. Нет, господа; вы с нами не жили, вы в наших радостях и скорбях не участвовали; вы приехали из—за моря!

Да, конечно, европейский идеал, европейский взгляд и вообще европейское влияние сильно отозвалось в созданиях нашей литературы, отражается и до сих пор. Но разве мы рабски воспринимали их, разве не переживали их жизненным процессом, разве не выработывали своего русского взгляда на эти иноземные явления, разве не убедились, не прочувствовали самую жизнь, что общечеловечность есть может быть самое важнейшее и святейшее свойство нашей народности? Разве наконец мы не сознавали народности, не сознали необходимости почвы и обращения к ней? К. Аксаков говорит, что все попытки обращения к народности оказались в литературе нашей неудачными. «Портрет купца похож, — говорит он, — у Островского; речь сходна: говорит *должен*, а не *должен*».

Неужели ж К. Аксаков у Островского только и заметил это *должен*, а не *должен*? По смыслу и по тону статьи так выходит. Нет, мы не поверим в этом К. Аксакову; он прикидывается. Ведь случается иногда с самым серьезным человеком какой-то каприз, какая-то потребность избочениться, вставить в глаз стеклышко и посмотреть на вселенную, — ну хоть так как смотрят у нас иногда на вселенную, в четвертом часу пополудни, на Невском проспекте... И как вы думаете, чего требует К. Аксаков: «где же, — говорит, — настоящий купец? Где душа его? где то, что в нем жить должно»? Т<o>е<сть> ни больше ни меньше, требует изображения положительных сторон русского человека, с патетической его стороны. А, каково? то есть последнего слова сознания, последней степени красоты мелькающего нам и манящего нас идеала. Безделица! Мы не упрекаем К. Аксакова, что он не разглядел в Островском следов положительной русской красоты, уже кое-где намеченной во всем его «Темном царстве», что он не подивился на то: как это так рано удалось, так рано случилось, так рано начало высказываться это новое слово, — вместо того чтоб попрекать и подсмеиваться? Мало ли что человек может не заметить, особенно под влиянием известного идеального настроения. Но нам нестерпимо суждение Аксакова, как было бы нестерпимо суждение барича в желтых перчатках и с хлыстиком в руке над работою чернорабочего: «А что урока отчего не сработал? По восьми пудов не можешь носить? Неженка!» Да что ж вы-то делали, К. Аксаков? а не вы, так все ваши славянофилы? Читаешь иные ваши мнения и наконец поневоле придешь к заключению, что вы решительно в стороне себя поставили, смотрите на нас как на чуждое племя, точно с луны к нам приехали, точно не в нашем царстве живете, не в наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты над кем-то делаете, в микроскоп кого-то рассматриваете. Да ведь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на нее смотрите, как козявку ее разбираете? Да ведь вы сами литераторы, г<оспо>да славянофилы. Ведь вы хвалитесь же знанием народа, ну и представьте нам сами ваши идеалы, ваши образы. Но сколько нам известно, выше князя Луповицкого вы еще не подымались. Вы скажете: нелепо и грубо нам так рассуждать. Извольте, мы согласимся с вами, но только тогда, когда вы не будете рассматривать ваших же русских свысока как букашек, как кучу каких-нибудь муравьев, и забавляться над нашими усилиями, муками и ошибками. Бросьте ваш тон свысока, и вспомните, что вы сами русские и принадлежите к тому же самому обществу, один фатализм нас связал, и *свысока, со стороны* вы судить не можете, себя выгораживая. Вы как будто хвалитесь, что у вас есть *свое, особое*, не такое как у нас. Ведь согласитесь, в словах «*должен, а не должен*» лежит столько насмешки, столько лукавой про себя насмешки: «Ведь вот дескать чего этот жалкий народ не знает! каких основных вещей не понимает! Как совратился, как отупел!» Ну и покажите нам то что у вас есть, не скрывайте сокровище; да не в наставлениях, не в надгробных над нами речах покажите его, а в настоящем деле, — ну хоть в искусстве, так как это всего невиннее и... сподручнее. Иначе ведь странно со стороны: что ж это в самом деле, подумаешь, люди говорят постигли тайну русского назначения, русского духа, привилегированно отмежевали себе знание русских судеб русского человека и то, «*как он быть должен*», а смотришь — на деле от них и нет ничего. И не могут сами-то показать, «*как он быть должен*»! И добро бы не было у них литераторов!

Литераторы-то есть, да жизни-то нет!

Да, ее нет! Чутья действительности нет. Идеализм одуряет, увлекает и — мертвит, и вы сами не ясно понимаете то, пониманием чего хвалитесь перед нами. Вот почему мы и сказали, что у вас есть чутье некоторых основных элементов русской жизни, но не всех. Чутья как не быть: вы русские, люди честные, любите родину; но идеализм губит вас и иногда вы даете ужасные промахи, даже в понимании именно этих-то основных элементов русской жизни. <...>